

# Прудон Пьер- Жозеф. Литературные майораты

1862, Источник: [Национальная электронная библиотека](#), издание: Жиркевич и Зубарев, 1865, перевод на современную орфографию - Федерация анархистов. Подзаголовок: разбор проекта закона, имеющего целью установить бессрочную монополию в пользу авторов, изобретателей и художников.

Эпиграф: "Если авторское право не есть право собственности, то освободим язык от неточного выражения, а юриспруденцию от ложного понятия" - Лабуле, «Etudes sur la propriété littéraire».

- [От переводчика](#)
- [Вступление](#)
- [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Экономические выводы](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Нравственные и эстетические соображения](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Социальные последствия](#)
- [Примечания и оглавление](#)

# От переводчика

Представляя публике русский перевод книги Прудона, заключающей в себе исследование об авторском праве, или о так называемой литературной собственности, мы считаем нужным объяснить причины, побудившие нас взяться за подобное издание.

Появление настоящего сочинения было вызвано тем обстоятельством, что по распоряжению императора Наполеона III в 1862 году, в Париже, под председательством государственного министра Валуевского собралась комиссия, которой поручено было составить проект нового закона о литературной собственности. После нескольких заседаний комиссия произвела на свет мысль о необходимости установить в пользу авторов особый вид бессрочной, наследственной привилегии. Против проведения в жизнь такого губительного для дела народного развития принципа со всею силою свойственного ему красноречия восстал Прудон и по этому поводу написал книгу, которой и дал название: «Литературные Майораты».

Как из заглавия самой книги, так и из обстоятельства, вызвавшего её появление, можно было бы заключить, что она имеет слишком одностороннее, полемическое значение и может интересовать одних только французов; но так кажется только с первого взгляда. Хотя полемический элемент и занимает в книге довольно видное место, но тем не менее она не безынтересна и не для французов. Сам Прудон говорит, что предназначает ее не для соотечественников; что во Франции он не рассчитывает на успех и стремится лишь к тому, чтобы удержать другие государства от увлечения примером Франции.

У нас, в России, где вопрос об авторском праве, принадлежит к числу непечатых углов, книга Прудона, как нам кажется, всего уместнее. Будь предмет, о котором говорится в этой книге более знаком русской публике, выбор наш может быть и не остановился бы на Прудоне, но когда речь идет о возбуждении внимания общества, о привлечении его на известный пункт, тогда-то именно Прудону и нужно действовать. Если разрешения, которые он дает вопросам не всегда можно считать за окончательные и непогрешимые, то, что касается до постановки вопросов, до критического разрушения заблуждений и предрассудков, затемняющих вопрос, до расчистки поля для новых исследований и выводов, то мало найдется писателей, которые могли бы совершить подобное дело лучше Прудона.

Рассматривая вопрос о литературной собственности и с точки зрения политической экономии, и с точки зрения нравственности, и с точки зрения права, книга Прудона должна, поэтому, интересовать весьма обширный круг читателей.

Публика наша, надеемся, не будет в претензии за то, что мы знакомим ее с чрезвычайно оригинальным воззрением Прудона на такой вопрос, который до сих пор служит камнем преткновения и для юристов и для экономистов.

«Литературные Майораты» на французском языке выдержали уже два издания; — одно брюссельское, другое парижское. В 1862 г. Прудон, как сам он рассказывает в предисловии к брюссельскому изданию, вздумал было напечатать свою книгу в Париже, но издатель, взявшийся за это дело, предложил ему такие условия, принять которые не представлялось никакой возможности; он требовал исключения из книги всех мест, в которых его расстроенному от страха воображению чудилось прямое или косвенное нападение на императорское правительство. Подобных мест набралось до пятнадцати. В числе их есть до такой степени невинные фразы, забракование которых дает нам ясное понятие о том далеко незавидном положении, в каком находятся французские издатели, и о паническом страхе, наводимом на этих несчастных людей либеральными императорскими законами о печати. Прудон отказался от выполнения этих бессмысленных требований, да и не мог иначе поступить, так как по собственным словам его самозванный цензор-издатель заставлял его «отказаться от рассуждения о таких вопросах, в постановке, если не в разрешении которых заключалась вся цель его труда» — «Поэтому-то, говорит Прудон в предисловии к брюссельскому изданию, я счёл за лучшее напечатать свою книгу в Брюсселе и представить этот факт на суд общественного мнения и на благоусмотрение самого императорского правительства. Правительство может находить, что ему необходимо быть строгим, но конечно оно не захочет, чтобы глупость частных лиц увеличивала эту строгость; оно знает, что деятельность полиции никогда не должна выходить из пределов необходимости, *odiosa restringenda*, и вероятно не пропустит случая возвратиться к законному порядку склонные к крайностям умы». — Возвратясь впоследствии во Францию Прудон нашёл более смелого издателя для своей книги. Г. Дентю взялся напечатать «Литературные Майораты» без вырезок и таким то образом появилось второе парижское издание. Это издание весьма немногим отличается от брюссельского; добавлений и изменений в нем очень мало. Мы с своей стороны имели в виду оба издания и заимствовав из парижского издания все существенные изменения, мы сохранили текст брюссельского издания в тех местах, которые в нем яснее и точнее формулированы.

# Вступление

Разбор проекта закона, имеющего целью установить бессрочную монополию в пользу авторов, изобретателей и художников {1\*}

27 сентября 1858 года в Брюсселе собрался конгресс, состоявший из литераторов, учёных, художников, экономистов, и юристов всех стран; цель этого конгресса составляло разрешение вопроса об авторских правах, о том, что в настоящее время носит название интеллектуальной или литературной собственности.

Еще 15 августа г. де Ламартин прислал президенту конгресса письмо, следующего содержания:

Париж, 15 августа 1858 года.

«Господин Президент, важные (sic) и непреодолимые препятствия лишают меня возможности принять участие в конгрессе, на который вы меня приглашаете. Такое обстоятельство тем более для меня прискорбно, что, в качестве докладчика закона о литературной собственности во Франции (в 1841 г.), я серьёзно занимался этим вопросом, доказательством чему могут служить статьи, которые я помещал об нем в «Монитере».

«Бельгии, как стране по преимуществу интеллектуальной, приличнее всего взять на себя инициативу в таком вопросе, который представляет собою новый шаг в деле развития института собственности. Некий софист сказал: Собственность — кража (La propriété c'est le vol). Установляя самую священную из собственности — собственность интеллектуальную, вы ответите этому софисту: она создана Богом, человек должен признать ее.

«Примите, Господин Президент, уверение в моем глубоком уважении».

«Ламартин».

Я выписываю это письмо из «Indépendance Beige» — 18 августа 1858 г.

В это время я только что приехал в Бельгию, куда должен был удалиться потому, что за сочинение «О правде в революции и в церкви{2\*}" меня приговорили к трехлетнему тюремному заключению. Таким образом г. де Ламартин плохо рекомендовал меня Бельгии и предостерегал конгресс против моих софизмов. Г. де Ламартин брал на себя совершенно напрасный труд. Я не был на конгрессе, меня туда не приглашали. Все участие мое в этом деле проявилось только в статье, помещённой мною в одном небольшом еженедельном журнале, который в то время был мало распространен, вследствие чего и статья моя прочтена была не многими. Никто на конгрессе не повторил моих доводов, никто даже не произнес моего имени, и тем не менее конгресс, единодушно стоявший за собственность, отверг бессрочность литературной привилегии.

Проигравши дело на брюссельском конгрессе, литературная собственность однако не признала себя побежденною, а решилась во что-бы то ни стало взять свое. С этою целью явилось множество различных сочинений, к числу которых относятся: 1.) Исследования о литературной собственности{3\*} гг. Лабуле, отца и сына (1858 г.); 2.) Об интеллектуальной собственности{4\*}, соч. гг. Фредерика Пасси, Виктора Модеста, П. Пальотте, с предисловием г. Жюля Симона (1859 г.). Мы уже видели на сколько удалась г. де Ламартину попытка предостеречь против моих софизмов брюссельский конгресс. Гг. Фредерик Пасси, Виктор Модест и П. Пальотте, не смея затрагивать почтенных членов брюссельского конгресса, в свою очередь напали на того же несчастного софиста, которого и начали бичевать, как безответного холопа. Когда мне будет время посмеяться, то я представлю публике Интеллектуальную собственность, метафизически доказанную господином Фредериком Пасси, за которую будет следовать Абсолютная Юриспруденция г. Виктора Модеста и Путешествие на остров Робинзон г. П. Пальотте, комедия в трех действиях, в прозе, с прологом г. Жюля Симона. В настоящую минуту мне достаточно будет сказать, что учёные сочинения гг. Лабуле, отца и сына и гг. Фредерика Пасси, Виктора Модеста и П. Пальотте, последнее контрастированное Жюлем Синомом, имели столько же влияния на антверпенский конгресс 1861 года, (на котором я также не присутствовал), сколько авторитет г. де Ламартина на брюссельский конгресс 1858 года.

Наконец литературная собственность в кассационном порядке обратилась к самой императорской власти. Журналы заговорили о третьем конгрессе в Париже. Созвание такого конгресса было бы совершенно логично. Вопрос о литературной собственности существенно отличается своею космополитичностью, так как серьёзное разрешение его невозможно, если оно не будет принято всеми государствами. Конгрессу следовало противопоставить конгресс же, брюссельский и антверпенский поместные соборы следовало призвать на вселенский собор в Париже. Два первые конгресса, под влиянием бельгийской атмосферы, сбились с истинного пути; третий, собравшись на свободной земле, не смущаемый предрассудками, восстановит нарушенную справедливость. Франции, как стране некогда конституционной, представительной и парламентарной, прилично было торжественно и всесторонне обсудить, если нужно, в тридцати заседаниях то, на что брюссельский и антверпенский конгрессы употребили три заседания.

Тем не менее, французы предпочли прибегнуть к простейшим формам императорского порядка, как к представляющим более ручательств за справедливость. Для разрешения этого вопроса государственный министр г. Валуевский учредил особую комиссию. Комиссия, рассуждавшая при закрытых дверях, написала уже доклад, государственный совет составит проект, а законодательный корпус вотирует новый закон. Я сначала было надеялся, что поразмысливши хорошенько об этом предмете и министр и комиссия откажутся от своего проекта; но надежда моя не осуществилась{5}. Полновесные возражения, которые представлялись защитникам литературной монополии противною стороною не пошли в прок. Каста литераторов, самозванных преемников Вольтера, Руссо, д'Аламбера и Дидро решилась побороть самый принцип революции. Вероятно надеются, что когда Франция выскажет свое мнение, то к нему присоединятся все нации. Разве мы не истинные истолкователи свободы, равенства, собственности; разве мы не выступаем с барабанным боем под знаменем революции? Совершивши подобный подвиг, мы — эмансипируем интеллигенцию человечества, как выражался г. де Ламартин в 1841 году.

Что касается до демократии, представляемой прессою, то она изъявила рабскую покорность. Если и являлись некоторые возражения, то до такой степени скромные и опиравшаяся на такие слабые доводы, что можно смело сказать, что оппозиции вовсе не было. Все приняли решительную, торжественную апофегию г. Альфонса Карра: Литературная собственность — такая же собственность, как и всякая другая (*la propriété littéraire est une propriété*). Я считаю особенно важным указать на то, что эта привязанность к литературной собственности, по словам её защитников, вытекает будто бы из глубокого уважения, ясного понимания права собственности и священного ужаса при виде нападений, которым оно подверглось. По словам сторонников нового учения — поземельная собственность, до сих пор считавшаяся собственностью по преимуществу, нисходит на второй план и даже объявляется безосновательною, незаконною, воровскою, если не дополняется, не освящается и не подкрепляется собственностью интеллектуальною — самым справедливым, самым священным видом права собственности. Хотя бы защитники монополии и не называли меня, но намеки их были довольно ясны, так что я лично вовлечён был в спор. Если поэтому полемика моя принимает иногда вид возмездия, то читатель поймет причину такого явления.

Всесветное предание и единодушный приговор всех наций до сих пор отвергали принцип бессрочности привилегий на книги, произведения искусства, машины и т. п. — «Против этого принципа», сознается защитник литературной собственности г. Виктор Модест «вооружаются положительные законодательства и старого и нового света. К числу его противников принадлежит большинство великих мыслителей, большинство наших учителей». Прибавим, что он противоречит основаниям нашего публичного права и принципам революции.

Но мы все это переменим. Предание и всеобщее соглашение не имеют смысла, законодатели наши с 1789 до 1851 г. ошибались, положительные законодательства старого и нового света, — впали в заблуждение. Революция сбилась с истинного пути, да впрочем она принадлежит прошлому веку и нам пора с нею покончить. На революцию мы смотрим, как на привилегию, срок которой окончился; у нас теперь уже не революция, а прогресс на языке. Мы докажем это пересмотром протоколов брюссельского и антверпенского конгрессов. Апелляторы многочисленны, сильны, деятельны; у них есть свои авторитеты. Будет большим несчастьем, если литературная собственность, борясь на поприще ею самую выбранном, имея дело с одними софистами, отстаиваемая государственным министром и уверенная в защите со стороны императора, не одержит победы. В Брюсселе толковали об этом предмете старые перепечатчики, в Париже он будет обсуждаться — экономистами и юристами.

Конечно, вступая в борьбу в подобную минуту, я не могу ждать успеха. Франции в её революционных передвижениях суждено кажется возвратиться к порядку, уничтоженному в 1789 г. Нас, французов, могли бы обвинить в отступничестве, если бы не было известно, что история имеет свои повороты, свои *ricorsi*, как выражался Вико, и что ретроградное направление служит иногда предвозвестником нового прогрессивного движения. Моралисты любят объяснять этот странный феномен падением наций, но более глубокое исследование открывает в нем постоянный закон... Но так как на той степени развития, которой цивилизация достигла в настоящее время, одно государство не может принять

никакого окончательного решения без согласия прочих государств, так как не во власти Франции остановить революцию, ею начатую, но распространившуюся по всей Европе, то я решился издать настоящее сочинение, в надежде, что если и не избавлю Францию от нового закона, то, по крайней мере, может быть успею помешать распространению его за пределы империи Наполеона III.

Меня совершенно успокаивают следующие два обстоятельства: первое, — что право собственности, находящее в 1862 году столько же защитников, сколько и в 1848, вопреки мнению сторонников литературной привилегии нисколько не заинтересовано в учреждении бессрочной монополии; второе, — что мне приходится бороться не против правительства, которое в настоящем случае само только увлечено влиянием партий и воображает, что поступает совершенно справедливо, благоразумно и прогрессивно, представляя на обсуждение палат такой закон, который двадцать лет тому назад был бы встречен всеобщим негодованием.

Пусть император вносит в палаты проект нового закона, — его дело вносить всякие проекты, так как одному ему по конституции 1852 г. предоставлена законодательная инициатива. Но пусть помнят члены государственного совета, законодательного корпуса и сената, что приняв подобный закон, они окончательно погубят дело революции, нанесут жестокий удар праву собственности, заменят принцип народного самодержавия, в силу которого царствует Наполеон III — феодальным, династическим началом и кастовою иерархией, словом совершенно исказят все государственное и гражданское право Франции.

Пусть успокоятся те собственники, которых до сих пор страшат красными призраками делильщиков, в этой книге они не найдут ни одного неблагоприятного предложения. Их интересам не грозит никакой опасности. Их собственность не имеет ничего общего с тою воображаемою интеллектуальною собственностью, на сторону которой их хотят привлечь; они не подвергнутся экспроприации за то, что откажутся освятить своим согласием самую безнравственную из привилегий. Если бы дело шло о праве собственности, то я бы не вмешался в спор, зная, что заявление моего всегда открытого мнения могло бы только ускорить роковое разрешение вопроса.

Что касается до почтенных ораторов и публицистов, защищавших и на брюссельском конгрессе, и после него то же положение, которое и я отстаиваю, и из которых я назову гг. Виллемена, Велевского, Вильоме, Кальмельса, Виктора Фуше, Кантю, де-Лаверня, Поля Кока, Гюстава Шоде, (я говорю только о живых), то да позволят они присоединить к их более влиятельным голосам и мой сильно скомпрометированный голос. Далеко еще не последнее слово сказано в сложном вопросе о правах авторов и художников, много еще можно поработать над разъяснением той путаницы, той темноты, которую внесли в него самозванные юристы и экономисты. Я надеюсь, что меня должны будут поблагодарить за то, что я указываю к какой пропасти влекут они и страну и правительство.

Вопрос о вознаграждении авторов соприкасается к разным сферам идей. Я рассмотрю его с трех точек зрения: политической экономии, эстетики и публичного права.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

### § 1. Постановка вопроса

В 1844 году принц Луи-Наполеон, ныне его величество Наполеон III, в ответе своем г. Жобару, автору «Mon autorole» высказал мнение, на которое опираются в настоящее время защитники литературной собственности: «Интеллектуальное произведение — такая же собственность, как и земля или дом; она должна пользоваться теми же правами и не может быть нарушаема иначе, как в интересе общественной пользы (pour cause d'utilité publique)».

Во время оно слова учителя были для школы неопровержимым доказательством. Учитель сказал, *Magister dixit*, и дело было решено; французская логика, склонная к авторитетам, и до сих пор держится той же системы. Государь сказал, император сказал! — Его решение безапелляционно.

На этот раз, однако, император ошибся. Интеллектуальное произведение вовсе не такая же собственность, как земля или дом и вовсе не порождает тех же самых прав. Так как я не принадлежу к числу людей, которым верят на слово, то приведу доказательства.

Конечно, я не стану винить Наполеона III за то, что будучи еще простым претендентом, но уже осаждаемый разными утопистами и изобретателями панацей, он поддался влиянию шутника Жобара, которого я коротко знал, и который верил в литературную собственность, как истинный нормандец т. е. не слишком-то ей доверял. Я осмелюсь только, сославшись на слова Людовика XII, напомнить его императорскому величеству, что император французов не может отвечать за *lapsus calami* принца Луи и после такой оговорки я охотно буду хвалить августейшую особу, решившуюся приведенными словами сразу разрешить затруднение.

Вопрос не в том, имеет ли литератор, изобретатель или художник право на вознаграждение за свой труд; кто же думает отнимать кусок хлеба у человека, будь он поэт или оброчный крестьянин? Раз на всегда следовало бы бросить этот пустой вопрос, подающий только повод к самым смешным декламациям. Нам предстоит определить только свойство авторских прав, способ вознаграждения труда; мы должны решить может ли, и каким образом, этот труд породит собственность, аналогичную собственности поземельной, как уверяют защитники монополии и как думал принц Луи-Наполеон в 1844 году; не основывается ли установление интеллектуальной собственности по образцу поземельной, на ложном уподоблении, на ложной аналогии.

Основывая свои суждения на неудачном обобщении, защитники монополии разрешают этот вопрос утвердительно; я же, после тщательного разбора их доводов и на основании того анализа, о достоинствах которого будут судить читатели, пришёл к противоположному, отрицательному ответу.

## § 2. Определение

С экономической точки зрения писатель — производитель, а сочинение его — продукт. Что понимается под словом производить? Свойство человеческой производительности Все писатели, защищающие литературную собственность, сходятся между собою в том, что уподобляют художественные и литературные произведения — земледельческим и промышленным. Такова исходная точка всех их рассуждений; эту же точку приму и я за исходную. Прежде всего следует только оговориться, что подобное уподобление нисколько не унижает достоинства литературы, наук и искусств.

Действительно, как ни существенно различие между областью прекрасного, справедливого, святого, истинного и областью полезного, как ни резка черта, разделяющая эти области во всех других отношениях, но если принять в соображение только то, что для всякого сочинения автору нужно употребить физическую силу, время, деньги, припасы, словом, если смотреть на этот предмет единственно с точки зрения политической экономии, то, на языке науки народного богатства, писатель ничто иное как производитель; сочинение же его ничто иное как продукт, который если будет пущен в обращение, то порождает право на вознаграждение, жалованье или заработную плату, — я не стану в настоящую минуту спорить о выражении.

Но прежде всего, — что понимается в политической экономии под словом производить?

Лучшие представители науки сообщают нам, и защитники литературной собственности не оспаривают такого мнения, что человек не может сотворить ни одного атома материи; что он способен только овладеть силами природы, направлять их, видоизменять их действия, соединять и разъединять различные тела, изменять их формы и посредством подобного управления силами природы, подобного видоизменения тел, подобного разделения элементов придавать внешнему миру более полезный, плодотворный, благодетельный, блестящий и выгодный для самого человека вид. В этом смысле вся человеческая производительность состоит: 1) в выражении идей, 2) в видоизменении материи.

Таким образом всякий ремесленник есть ничто иное, как производитель движений и форм: первые он почерпает из своей жизненной силы, с помощью мускулов и нерв; вторые являются вследствие возбуждения его мозга. Единственная разница между ним и писателем та, что ремесленник, непосредственно действуя на материю, изображает, и, так сказать, воплощает в ней свою идею, между тем, как философ, оратор, поэт, если можно так выразиться, не производят ничего вне собственного своего существа и произведение их, устное или письменное, ограничивается словом. Я с своей стороны давно уже сделал это замечание и гг. Фредерик Пасси и Виктор Модест, разделяющие в этом отношении мои взгляды, могли бы сослаться на мои слова, если бы я принадлежал к числу таких писателей,

которых прилично цитировать и если бы напротив того не было выгоднее третировать меня, как софиста. Но знают ли они к чему приведет их это уподобление, принимаемое, кажется, всеми современными экономистами? Они и не подозревают этого.

Итак мы пришли к соглашению: писатель, человек одаренный гением, — такой же производитель, как и мелочной лавочник или булочник; сочинение его ничто иное, как продукт — частичка народного богатства. Было время, когда экономисты различали произведения материальные и нематериальные, подобно тому, как Декарт различал дух и материю. Это деление оказалось излишним: во первых потому, что произвести материю невозможно и вся наша деятельность ограничивается производением идей и видоизменениями природы; во вторых потому, что в строгом смысле слова мы не можем произвести даже и идей — точно так, как не можем произвести материальных тел.

Человек не творит своих идей, но получает их; он не образует истины, но открывает ее; он не изобретает ни красоты, ни справедливости, — они сами открываются ему при наблюдении явлений и взаимодействия предметов. Для нас не доступен ни умственный, ни чувственный фонд природы: причина и сущность вещей не наших рук дело; даже идеал, о котором мы мечтаем, к которому стремимся и из-за которого делаем столько глупостей — создан не нами. Наблюдать и увидеть, искать и открыть, овладеть материей и видоизменить ее сообразно тому, что мы видели и открыли, — вот что политическая экономия понимает под словом производить. Чем более углубляемся мы в этот вопрос, тем более убеждаемся в действительности сходства между литературными и промышленными произведениями.

Мы говорили о качестве продукта, обратимся к количеству. В какие пределы заключена наша производительная сила и следовательно какое значение, какие размеры могут иметь наши произведения?

На этот вопрос можно ответить, что наша производительность зависит от наших сил, от нашей организации, от воспитания, которое мы получили, от среды, в которой мы живем. Но такая пропорциональность имеет большое значение только при рассматривании человека в собирательном смысле и вовсе не важна, если мы будем рассматривать отдельных индивидуумов, так что все сказанное мною о незначительности индивидуальной производительности относится столько же до произведений философских или литературных, сколько и до промышленных.

Подобно тому, как земледелец видоизменяет только небольшую частичку почвы, возделывает только клочок земли, словом добывает себе только насущный хлеб, так и мыслитель не сразу открывает истину, а доходит до этого путем многих заблуждений; да и та истина, открытием которой он хвалится, ничто иное как на минуту блеснувшая искра, которая завтра же исчезнет в сиянии вечно восходящего светила общечеловеческого разума. В области науки и искусства всякий индивидуум быстро стирается, так что идеи, на которых время казалось не должно бы иметь большего влияния, на деле ничем от него не защищены. Производство человека, каково бы оно ни было, также ограничено, несовершенно, эфемерно и не долговечно, как и сам он. Проходя чрез мозг человека, который ее индивидуализирует, идея так же скоро стареет, как и слова ее выражающие;

идеал разрушается так же быстро, как образ его представляющий и произведение, которым мы восторгаемся, которое мы называем гениальным, в сущности — ничтожно, несовершенно, брэнно, требует постоянных возобновлений, как хлеб, которым мы питаемся или как одежда, прикрывающая нашу наготу. В самом деле, что такое представляют собою великие произведения, оставленные нам вымершими, но по нашим понятиям бессмертными народами? — мумии.

Итак со всех точек зрения произведения промышленные тождественны с произведениями литературными. Перенесенное в область политической экономии различие между духом и материей подает только повод к заявлению надменных притязаний, к предъявлению таких условий, которые противны не только политической экономии, но и самой природе. Это не значит, однако, чтобы люди, специальность которых составляет умственная работа не были умнее тех людей, которые по ремеслу своему принуждены постоянно возиться с материальными предметами; это не доказывает также, чтобы художественная и литературная производительность составляли только особую отрасль промышленности.

Я оставляю за собою право впоследствии доказать совершенно противное. Я говорю только, что в сущности, если иметь в виду только народное богатство, нет качественного различия между разными категориями продуктов, и в этом отношении защитники литературной собственности со мной согласны. Откровенно говоря, действительно — велико ли это различие с точки зрения экономической? Мыслитель изобрел идею, практик усваивает ее и дает ей осуществление. Кому отдать преимущество? Можно ли полагать, что достаточно прочесть в трактате о геометрии правила рассечения камней для того, чтобы и рассечь их по этим правилам? Но для этого нужно еще уметь обращаться с молотком и долотом; вообще не так просто передать идею, созревшую в мозгу, оконечностям пальцев, которые уже переводят ее на материал. Человек, сумевший сообщить идею рукам, часто разумнее того, у которого она только в голове и который не может выразить ее иначе, как формулою.

## § 3. Право производителя на продукт. — Понятие о произведении не влечёт за собою понятия о собственности

Кому принадлежит произведенная вещь или форма? Производителю, который имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться ею. Это такой принцип, под которым я готов подписаться обеими руками. Никаких доказательств тут не нужно, гг. Пасси и де Ламартин. Я никогда не говорил, что труд — кража, напротив того... «Следовательно, заключают они, продукт составляет собственность производителя. Вы согласны с этим, следовательно мы поймали вас на слове, убедили вас с помощью ваших же афоризмов». Позвольте, господа, мне кажется, что не я, а вы сами введены в заблуждение своею метафизикою и многословием. Позвольте мне сначала сделать вам небольшое замечание, а за тем уже мы увидим, кто из нас прибегает к софизму.

Человек написал книгу, и эта книга принадлежит ему, я с этим согласен, как дичь принадлежит охотнику, который ее убил. Автор может сделать с своею рукописью все, что ему угодно, сжечь ее, поставить в рамку, подарить своему соседу; все это в его воле. Я даже готов согласиться с аббатом Плюке (Pluquet), что если книга принадлежит автору, то она составляет его собственность; но будем избегать неточных выражений. Собственность — собственности рознь. Это слово принимается в различных значениях, и переходит от одного толкования его к другому, — такой способ рассуждения ничто иное, как глупое шутовство. Чтобы сказали вы о физике, который, написавши трактат о свете и сделавшись вследствие того собственником, стал бы утверждать, что к нему перешли все свойства света; что его темное тело преобразилось в светящее, блестящее, прозрачное; что оно проходит 70,000 миль в секунду и до некоторой степени обладает даром вездесущности? Вы пожалели бы, что такой учёный человек сошёл с ума. Почти тоже самое случилось и с вами и, в то время, как вы от понятия о праве собственности на продукт доходите до образования нового рода поземельной собственности, к вам можно применить слова, сказанные правителем Иудеи апостолу Павлу: *Multae te litterae perdidierunt*. Весною бедные крестьянки ходят в лес за ягодами, которые они потом продают в городе. Эти ягоды — их продукт и следовательно, выражаясь словами аббата Плюке, их собственность. Доказывает ли это, что бедные крестьянки принадлежат к классу людей, называемых собственниками? Если бы дать им это название, то всякий подумал бы, что они имеют право собственности и на лес, в котором растут ягоды. Но к несчастью истина совершенно противоположна такому заключению. Если бы ягодные торговки были собственницами, то они не собирали-бы в лесу ягод для десерта собственников, а сами ели бы их.

Нельзя так легко переходить от понятия о производительности к понятию о собственности, как делал это в 1791 г. Шапелье, который и запутал законодательство по этому предмету. Против попытки установить синонимичность этих понятий вооружается даже и обычай, так как и в разговорном языке, и в науке всеми принято, что хотя один и тот же человек может быть и производителем и собственником, но, тем не менее, эти два названия совершенно различны и часто даже противоположны друг другу. Конечно продукт составляет имущество производителя, но это имущество не есть еще капитал, а тем менее собственность. До этих понятий еще далеко и чтобы дойти до них нужно тщательно разузнать и проложить дорогу, а не шагать на ходулях громких фраз, как делает г. де Ламартин.

Словом, возвращаясь к нашему сравнению, сочинение писателя есть такой же продукт, как и жатва крестьянина. Если мы захотим узнать основание этой производительности, то придем к двум моментам, соединение которых дает продукт: это — труд с одной стороны, а с другой — основной капитал или фонд, который для земледельца заключается в земле, а для писателя в том, что мы назовем пожалуй духом. Так как земля разделена между частными владельцами, то всякий клочок её, с которого возделыватель собирает жатву, называется поземельною собственностью, или просто собственностью; это понятие существенно отличается от понятия продукта, которому оно предшествует. Я не стану разыскивать оснований института поземельной собственности, на которую не нападают мои противники, стремящиеся только добиться её контрафакции. Эти основания не имеют ничего общего с нашими настоящими исследованиями. Я воспользуюсь только твердо установленным различием между земледельческим продуктом и поземельною

собственностью и скажу, что ясно вижу, в чём заключается продукт писателя, но не могу найти соответствующего ему права собственности. В чём оно заключается, на каких началах установить его? Размежуем ли мы мир духовный подобно тому как размежевана земля? Я не противлюсь такому размежеванию, если оно возможно, но каким же образом произвести его?... Составляет ли собственность писателя самый продукт его, самое сочинение, материалы для которого почерпнуты из общечеловеческого запаса сведений и которое в свою очередь послужит материалом для дальнейшей разработки? Каким же образом, вследствие каких общественных условий, какой законной фикции, каких оснований совершится подобная метаморфоза? Вот что вам следовало бы разъяснить, но чего вы не разъясняете, без всякой последовательности переходя от понятия о продукте к понятию о собственности; я с своей стороны сейчас же постараюсь разрешить этот вопрос. Литератор — производитель, его продукт принадлежит ему; никто с вами об этом не спорит. Но опять таки, спрошу я вас, что же этим доказывается? Что нельзя требовать от литератора его продукта даром? Так, но что же из этого?

Здесь, впрочем, возникает новый вопрос, который нужно рассмотреть особо.

## § 4. О мене продуктов. — Из меновых отношений не вытекает право собственности

Так как для того, чтобы установить литературную собственность, начали доказывать реальность литературного произведения, хотя первая вовсе не вытекает из последней, то и мы предположим, что эта собственность, если уже она должна существовать, будет результатом последующих отношений. Мы возвратимся к той точке, на которой оставили свой вопрос и проследим литературное произведение во всем его экономическом движении.

Всякое богатство, добытое трудом, есть в одно и тоже время и продукт физической силы и проявление идеи. Выходя из рук производителя, оно еще не представляет собою собственности, оно есть просто продукт, прибыль, объект пользования и потребления. Но положение человечества было бы весьма незавидно если бы всякий производитель пользовался только своими специфическими продуктами. Нужно чтобы пользование обобщилось и чтобы человек из специального производителя делался всеобщим владельцем и потребителем. Способ, посредством которого потребление продуктов делается общим достоянием всех, представляет мена. Только мена придает всякому продукту или всякой услуге — ценность; только мена порождает для всякого рода производительности понятие вознаграждения, платы, жалованья и т. п.

Может ли собственность, разумея под этим словом собственность поземельную, о которой разделение земли дает нам столь ясное понятие и на аналогии с которой хотят построить собственность интеллектуальную, может ли, говорю я, собственность, которую нам не удалось вывести из производительности, быть следствием мены? Этот-то вопрос нам и

предстоит теперь разрешить.

Законы мены известны: продукты обмениваются один на другой, причём оценка их зависит от взаимных отношений спроса и предложения; по совершении обмена каждая из поменявшихся сторон получает право распоряжаться приобретенным продуктом, как своим собственным, и за тем все взаимные обязательства сторон прекращаются.

Эти законы всеобщие, они применяются ко всем родам продуктов и услуг и не допускают исключений. Продукты чисто интеллектуальные обмениваются на промышленные точно так же, как последние меняются друг на друга; в обоих случаях из договора мены вытекают одни и те же права и обязательства. От чего же это зависит? От того, как объяснили мы выше, что все продукты человеческой деятельности, в сущности, однородны и однокачественны, все заключают в себе употребление физической силы и проявление идеи; что все действия человека, от идей выражаемых словами до видоизменения материи — ограничены, эфемерны, несовершенны; что сущность их не зависит от воли человека; что средняя пропорциональная величина их неизменна. Вот чем объясняется то обстоятельство, что люди могут обмениваться своими продуктами, оценивать друг друга, платить друг другу.

Но из всего этого я все таки не вижу, чтобы выменянная вещь могла обратиться в основной капитал, приносящий проценты или ренту, как земля, словом, чтобы она могла обратиться в собственность.

В мене можно найти много резко друг от друга отличающихся моментов, которые иногда порождают серьёзные затруднения; таково предложение, которое иногда предшествует спросу, а иногда следует за ним; сюда же относятся: — торг, соглашение, передача, получение, уплата. Обо всех этих моментах писались целые томы, все они могут порождать различные обстоятельства, но к числу их нельзя отнести, и даже невозможно вообразить себе такого факта, который заменил бы основную идею мены и обратил бы владельца, производителя или приобретателя вещи в лицо, которое мы привыкли называть собственником.

Мы дойдем в последствии до вопроса о сбережении и капитале и спросим, могут ли эти понятия повести к понятию о собственности. В настоящую минуту нас занимает одна мена.

Я говорил уже, что одного понятия о литературном произведении недостаточно для установления литературной собственности, подобно тому, как одного понятия о произведении земледельческом или промышленном недостаточно было бы для учреждения собственности поземельной; теперь же я скажу, что литературная собственность не может быть выведена и из принципа мены потому во первых, что сочинение, служащее предметом мены есть все-таки ничто иное, как продукт, вещь потребляемая, совершенно противоположная тому, что принято понимать под собственностью; во вторых, что по совершении обмена вещь принадлежит уже не производителю, а тому кто ее приобрел; такие соображения оставляют вопрос *in statu quo* и совершенно уничтожают гипотезу, устанавливающую право собственности в пользу производителя.

Таким образом общепринятая в настоящее время аналогия между литературным и промышленным производением далеко не приводит нас к понятию о какой бы то ни было собственности. Это следовало бы яснее понимать гг. Фредерику Пасси и Виктору Модесту, со всею свойственною им энергиею утверждающим, что собственность вовсе не есть последствие производительной деятельности и что те люди, которые подобно г. Тьеру в основание собственности кладут труд собственника, в сущности не защитники, а противники права собственности. Очевидно, — таково же и мое мнение, что поземельная собственность имеет другое основание; что она выше, если не старше труда и что выводить, подобно защитникам бессрочной монополии, право собственности из того, что литератор — производитель, значит самому портить свое дело.

Производители различных специальных предметов обменивают свои продукты, но в этой мене нет ничего, что бы порождало понятие о поземельной собственности. Владение (этим словом лучше всего определяется отношение производителя или меновщика к продукту), начинается со времени появления продукта, обнимает только этот продукт и прекращается с производством обмена. *Do ut des*, я даю вам с тем, чтобы и вы мне дали чтонибудь; дайте мне урок правописания, арифметики, музыки, я дам вам в замен этого яиц от моих куриц, кружку моего вина, фруктов мною набранных, моего сыру, масла, чего вы хотите. Спойте мне свою песню, расскажите мне свою историю, научите меня вашим приемам, вашему ремеслу, откройте мне ваши секреты; за это я дам вам квартиру, буду вас кормить и содержать на свой счет в продолжении недели, месяца, года, в продолжении всего времени, что вы меня будете учить. Что следует за обменом продуктов и услуг? Всякий из поменявшихся извлекает свою выгоду из полученного, усваивает себе эту вещь, разделяет ее между своими детьми, своими друзьями, и уступивший ее не может протестовать против такой передачи вещи. Виданное ли дело, чтобы молодые люди обоюго пола из Франции, Швейцарии и Бельгии отправляющиеся в Россию для обучения тамошней молодежи, сверх платы за свои услуги требовали еще от своих учеников обязательства, по достижении зрелого возраста не обучать своих соотечественников, так как преподавание составляет собственность иностранных наставников? Это значило бы дать и удержать, то есть разрушить мену. Русские вельможи, выписывающие иностранных учителей, могли бы, на том же основании, требовать, чтобы, по окончании занятий и по получении условленной платы, иностранцы обязаны были истратить эти деньги в России и не вывозить русских денег за границу; такое требование было бы конечно весьма странно и неудобноисполнимо, а между тем защитники литературной собственности мечтают о чем то подобном; под каким предлогом домогаются они таких не сбыточных вещей, это мы скоро увидим.

Вывод наш таков: всякий продукт чистого мышления или промышленности, если он пущен в оборот, считается не фондом, не собственностью, а потребляемою и уничтожаемою от потребления вещью; распоряжаться этою вещью может только произведший ее, или тот, кто получил ее, представив в замен её известный эквивалент. Совсем не таково право собственности. Земля не есть произведение человека, она не потребляема, и право собственности на нее может быть передано и лицу не возделывающему ее. Ничего не может быть яснее этого различия, даже самая аргументация монополистов предполагает его, хотя и не может этого выразить; весь их талант заключается в умении запутывать идеи, перемешивать понятия, выражаться двусмысленно и выводить заключения, не имеющие никакого отношения к большей посылке.

# § 5. Особые затруднения, встречаемые при мене интеллектуальными продуктами

*С одной стороны различие, по-видимому существующее между различными родами продуктов, а с другой несовершенство меновых операций ввели мыслителей в заблуждение.*

Между скотоводом, продукты которого составляют: масло, говядина, шерсть и промышленником, фабрикующим полотно, приготавливающим шляпы, обувь — мена производится естественно и легко. Труд каждого из них воплощается в материальный, осязательный предмет, который можно испробовать, измерить, взвесить и потребление которого необходимо ограничивается самим приобретателем и его семьей. Оценка, передача и расчёт в этом случае не представляют никакого затруднения. Поэтому то в законодательстве существуют об этом предмете старые и точно определенные постановления.

Не так легок обмен подобных продуктов на произведения умственные, на идеи, которые, как кажется с первого взгляда, даже вовсе непотребляемы и распространение которых, если они переданы хотя одному лицу, может идти до бесконечности уже независимо от автора; при таких обстоятельствах законодатель колеблется, а заинтересованные стороны кричат, одна о преувеличении, другая о неблагодарности. Во все времена в торговле было много несправедливого; научился ли еврей, в продолжении трех тысяч лет занимающийся торговыми оборотами, отличать мену от ажиотажа и кредит от лихоимства? Люди трудящиеся над разработкою отвлечённых идей жалуются на плохое обращение, которому они подвергались, а разве лучше участь несчастных тружеников, прикрепленных к земле?... Будем хладнокровно толковать о вещах и имея в виду то обилие вероломства, с которым нам приходится бороться, не будем выпускать из виду требований здравого смысла.

Начнем с самых простых примеров, а впоследствии перейдем и к более сложным.

Доктора призывают к больному, он определяет род болезни, прописывает лекарство. За такую услугу принято платить доктору, по выздоровлении, соразмеряя плату с числом визитов; в Англии, впрочем, доктору платят за каждый визит особо. Но что же дал доктор больному? — Совет, рецепт, заключающийся в четырех строчках, вещь нематериальную, неосязаемую, не имеющую прямого отношения к той плате, которая за нее производится. Одно лекарство, удачно прописанное, — спасет жизнь больного, и за него не жалко заплатить даже 1000 франков, а другое не стоит и чернил, которые на него изведены. Но всякий поймет, что доктор все-таки трудился, тратил время, должен был совершить путешествие пешком или в экипаже; что прежде чем сделаться доктором и получить практику, он должен был много и долго учиться и т. д. За все это нужно вознаграждение, но в чем же оно будет состоять? Нет никакой возможности точно определить его размеры. Данными для такого определения служат соображения о том, чего стоило доктору изучение

медицины, сколько у него больных, как велика конкуренция со стороны других докторов, как велика потребность в докторах и как высока степень благосостояния данной местности. Словом, хотя тут нет обмена продуктами, но есть обмен ценностями; поэтому услуги докторов вознаграждаются одинаково, по одной и той же таксе, независимо от того, удалось ему спасти жизнь больного или нет.

На том же самом основании вознаграждаются и услуги лиц, живущих частными уроками. Из данного урока, из прописанного рецепта, лицо получившее их может сделать все, что ему угодно. Никто не может запретить ученику научить другого тому, чему сам он выучился, или больному — передать рецепт другому лицу. Ни учитель, ни доктор не могут претендовать на это. Если лечить больных запрещено лицам не имеющим докторского диплома, то это запрещение имеет полицейскую и гигиеническую цель, а вовсе не стремится к защите привилегии. Всякий может изучить медицину и получить докторскую степень. Словом в этом случае, как и во всех других вполне применяется тот основной принцип мены, по которому приобретенная меною вещь становится собственностью приобретателя.

Несколько иначе вознаграждаются труды университетского профессора, которому государство платит определенное жалованье, но в сущности и тут наблюдается тот же принцип. Закон, скажете вы, запрещает кому бы то ни было воспроизводить его лекции. Я допускаю такую предосторожность со стороны законодателя который не хочет, чтобы мысли профессора искажались и обезображивались непонятливыми или неблагонамеренными слушателями. Профессор отвечает за свои лекции, следовательно он должен и наблюдать за их печатанием. Но выгода, которую профессор получает от обнародования своих лекций сверх жалованья, должна быть рассматриваемая как соединение в одном лице двух должностей. Она может быть терпима вследствие принятия в соображение умеренности профессорского оклада, вследствие желания поощрить усердие профессоров и т. д. Я не стану оспаривать разумности этих мотивов. Я говорю только, что нужно принять одно из двух: или эта прибыль от обнародования лекций составляет добавочный оклад профессора, или она представляет собою нарушение основного в торговле правила, что за один товар дважды не платят. Во всяком случае, из этого обстоятельства никак нельзя вывести необходимости установления бессрочной литературной ренты.

Судья, священник, чиновник административного ведомства, все эти лица рассматриваются с той же точки зрения. Все они также интеллектуальные производители и только желание возвысить их значение и не унижать их до сравнения с простыми промышленниками побудило изобрести для них названия жалованья, гонорара и т. п., которые все подобно более скромному названию — заработной платы, указывают на одно и то же понятие, на цену услуг и продуктов.

Не редко случается, что государство назначает пенсион выходящим в отставку слугам своим. Этот пенсион, необходимо пожизненный, нужно рассматривать, как составную часть вознаграждения за труды и следовательно он подходит под общие правила. В этом случае легко примириться с некоторым отклонением от основного принципа. Но отклонение не уничтожает принципа, а скорее доказывает его существование. В сущности всем этим управляют все те же правила мены, а в чем они заключаются? — В спросе и предложении, в

свободном соглашении, в двустороннем договоре, в представлении продукта за продукт, услуги за услугу, ценности за ценность, в том, что после передачи продукта и принятия за него эквивалента обе стороны совершенно расквитались. Нужно обратить внимание на это выражение; по окончании мены прекращаются всякие взаимные обязательства сторон; всякий получает известную вещь и может распоряжаться ею безотчетно, по своему произволу.

Обратимся к писателям. — Из всего сказанного очевидно, что если бы писатель был общественным деятелем, то определить способ его вознаграждения было бы очень легко. На него смотрели бы, как смотрят на профессора, судью, администратора, священника, деятельность которых предполагает также известного рода дарование, потому, что хотя они и не занимаются литературой, но часто выказывают столько же красноречия, знания, философского направления и героизма, как и человек перелагающий свои мечтания в стихи, диссертации, памфлеты или романы. В этом отношении было бы дерзко и обидно проводить какое нибудь различие между всеми этими услугами и продуктами. Однако наследственность уничтожена и в судейском и в духовном сословии, точно так же, как и в промышленности; вознаграждение облечено в форму ежегодного оклада, дополняемого иногда назначением пенсии, должности отдаются по конкурсу, так что и тут является та же свободная конкуренция, которая господствует в сфере промышленности.

Получая жалованье от государства, может ли учёный или литератор требовать, чтобы на него смотрели иначе, чем на прочих чиновников? Конечно нет. Получая жалованье от правительства, литератор потерял бы всякое право собственности на свои сочинения, за которые он достаточно уже вознаграждался бы ежегодным окладом. Во Франции духовенство кроме жалованья от правительства имеет еще случайные доходы и жалуется на свою судьбу; профессора получают особую плату за экзамены; академики получают вознаграждение за каждое заседание. Не худо бы отменить все эти прибавки, представляющие собою остаток от тех старых времен, когда экономические понятия были весьма не точны, когда судья брал взятки, а духовенство получало доходы; когда в руках дворянства была и привилегия военной службы и привилегия права собственности, между тем как земледелец был в крепостной зависимости и отправлял барщину; когда цивиль-лист государя смешивали с государственной казной; словом, когда производство находилось в рабском положении, а мена заключалась в взаимном надувательстве.

## § 6. Прекращение авторских прав

И так нам остается только заняться писателем независимым, который не состоит ни в звании профессора, ни в звании чиновника, ни в звании священника, который просто распространяет свои идеи посредством листков, прошедших через типографский станок. Каким образом определить следующее ему вознаграждение?

В этом отношении указывают нам дорогу французские короли, первые начавшие выдавать привилегии на печатание той или другой книги, нам остается только следовать их примеру. Автор представляет собою одну из меняющихся сторон, не так ли? с кем же он меняется? — Ни со мною, ни с вами, ни с кем в частности, но вообще со всею публикою. Если

представитель общества — правительство не назначает никакого жалования писателю (спешу оговориться, что я ничего подобного и не требую), то ясно, что на писателя нужно смотреть, как на антрепренера, принимающего на себя весь риск предприятия, что его издание с коммерческой точки зрения не представляет собою чего либо верного, обеспеченного и потому между ним и обществом возникает безмолвный договор, вследствие которого, в виде вознаграждения за труд, автору предоставляется на известное время исключительное право продавать написанную им книгу. Если на издание будет сильный запрос, то автор будет вознагражден с излишком, если издание не пойдет в ход, то он ничего не получит. Для того, чтобы он успел возратить свои издержки, ему дается 30-летний, 40-летний, 70-летний срок. Я нахожу этот договор совершенно правильным и справедливым потому, что он соответствует всем требованиям, сохраняет все права, соблюдает все принципы, и уничтожает все возражения. Одним словом, автора удовлетворяют, как и всех производителей, даже лучше многих других; но с какой стати может он заявлять претензию на исключительное положение, требовать сверх всего того, что дают ему — торговое право, законы о мене и политическая экономия, еще какой-то бессрочной ренты?

Этот вывод совершенно ясен, и пусть ктонибудь найдет в нем хотя тень софизма. В заключение повторим наши положения: от правительства требуют установления в пользу писателей нового вида права собственности, особой собственности *sui generis*, аналогичной собственности поземельной.

Я ничего не говорю против поземельной собственности, основанной на особых соображениях, об которой здесь нет и речи. Я спрашиваю только на чём основана такая аналогия?

В ответ на это защитники бессрочной монополии пускаются в экономически-юридическое рассуждение, исходною точкою которого служит то положение, что писатель — производитель, и как таковой имеет исключительное право на пользование своим продуктом. Я согласен на это уподобление, но замечу, что понятие о производительности и права из неё вытекающие вовсе не порождают права собственности в том смысле, в каком обыкновенно принимается это слово, в каком понимают его и защитники литературной собственности. Что литератор имеет право распоряжаться своею рукописью, как ему заблагорассудится и никому ее не показывать, в этом нет никакого сомнения, но что же этим доказывается?

Мне возражают, что всякий продукт, всякая услуга дает право на вознаграждение и что автор, пустивший в обращение свою книгу, может требовать за это какогонибудь эквивалента. Я и с этим согласен, но замечу моим противникам, что ни из понятия о мене, ни из понятия о производстве не вытекает понятие о собственности, и путем тех же аналогий докажу, что писатель, которому предоставлено на известный срок исключительное право на продажу своих сочинений, вознагражден сполна. Требуют, чтобы эта привилегия из срочной превратилась в бессрочную; — но на этом основании и крестьянка, которой за корзинку ягод дают пятьдесят сантимов, могла бы ответить: «нет, вы должны, до бесконечности, платить мне и моим наследникам ежегодную ренту в 10 сантимов». — Неужели же торгующий хлебом, мясом, вином и т. п. может отказаться от принятия платы за товар и требовать

замены её бессрочной рентой. Но ведь это значило-бы, подобно Иакову, приобрести право первородства за чечевичную похлебку. При таких условиях не только торговля, но и производительность вскоре вовсе бы остановилась потому, что всякому лицу достаточно было бы поработать несколько лет, а потом жить не трудом, а рентою. Нелепость такого требования очевидна.

Но есть ли хотя какойнибудь разумный предлог для того, чтобы сделать исключение в пользу художников и литераторов. Никакого подобного предлога не представляется. Защитники бессрочной монополии требуя, чтобы она была дарована совершенно безвозмездно и не опиралась ни на соображение личного значения авторов и художников, ни на достоинство их произведений, требуют вещи совершенно выходящей из порядка вещей. С какой стати устанавливать постоянный пенсион в пользу производителей, труды которых столько же сколько и все прочие продукты носят на себе отпечаток индивидуальности и духа времени, и по существу своему столько же ограничены, несовершенны, непрочны и недолговечны? Разве не известно, что произведения чистого, отвлеченного мышления изнашиваются так же скоро, как и промышленные продукты, уничтожаются постоянным движением человеческой мысли, поглощаются, видоизменяются другими последующими сочинениями? Средний срок существования книги не превышает 30-ти лет; перейдя за этот предел, книга уже не может удовлетворить духу времени, становится отсталою и ее перестают читать. Некоторые (весьма незначительное меньшинство) доходят до последующих поколений, но сохраняются только, как памятники древнего языка, исторические источники, археологические редкости. Кто в настоящее время читает Гомера или Вергилия? Для того, чтобы понимать их и оценивать их красоты нужно пройти через длинное подготовительное обучение. Пробовали было ставить на сцену пьесы Эсхила и Софокла, но и это не удалось. Библия, перейдя от Израильтян к Христианам совершенно переменяла свой вид. Недавно на наших глазах померкла слава Беранже, а через несколько лет никто не станет говорить ни об Ламартине, ни об Викторе Гюго. Об них как об тысяче других, будут помнить одни любознательные учёные: — вот в чём заключается бессмертие.

Но, скажут мне, если существование умственных произведений так непродолжительно, то какое же препятствие найдете вы для установления бессрочной привилегии в пользу писателей?

Я нахожу для этого много различных препятствий. Во первых, бессрочная привилегия не соразмерна с заслугами писателей и нарушает законы мены, по которым всякий продукт должен быть оплачен эквивалентом. Давать что либо свыше эквивалента, значит узаконят паразитство, становиться поборником несправедливости. Кроме того, установление такой бессрочной привилегии составляет нарушение прав общества, для которого таким образом умственные труды частных лиц идут во вред, а не в пользу. Наконец, защитники бессрочной монополии вовсе не замечают еще того, что исключительное право продажи своих сочинений, если бы оно было на вечные времена предоставлено авторам, увеличило бы продолжительность существования книги, что значительно повредило бы делу прогресса. О нарушении законов мены я не буду более говорить, но к двум последним причинам, по которым я считаю невозможным установить бессрочную монополию, я возвращусь еще в третьей части настоящего сочинения.

## § 7. Разрешение некоторых затруднений

Прежде чем пускаться в дальнейшие исследования да позволено мне будет разъяснить несколько недоразумений, вытекающих из неточности терминологии, употребляемой и защитниками и противниками литературной собственности. Эти подробности, я знаю, несколько скучны, но тем не менее необходимы.

Тут нужно обратить особое внимание на два следующие положения: 1) что между автором и публикою происходит мена; 2) что вследствие такой мены публика, за известную плату, получает книгу в свое распоряжение, в свою собственность. Этим устраняются все затруднения и вопрос совершенно разъясняется. Для того, чтобы установить понятие об интеллектуальной собственности, аббат Плюке сравнивает творения гения с поземельным участком, который распахан автором, а сообщение сочинения публике он называет жатвою. Очевидно, что для этого писателя не существует ни логики, ни грамматики. Творение гения не поземельный участок, но продукт, а между этими двумя понятиями есть существенное различие. Сообщение книги публике — не жатва, а непременно последствие мены; оно именно и представляет тот акт посредством которого автор отказывается от распоряжения своею книгою, то действие, которое юристы называют передачею (tradition), а купцы — отпуском товара (livraison). За тем следует цена, которой нелепо придавать название жатвы потому что тогда пришлось бы назвать жатвою и цену мешка хлеба; но это значило бы перепутать все понятия. Обработанная и засеянная земля произвела пшеницу; эту пшеницу снесли на рынок и продали за известную цену; вот и вся процедура. Точно также и человек, обрабатывающий поле мысли, извлекает из него продукт — книгу; эта книга печатается, продается, и автор получает за нее известное вознаграждение.

Некоторые из последователей бессмысленной теории Плюке, принимая все таки литературное произведение за поле, стали называть плодами этого поля — то количество экземпляров, в котором книга напечатана. Так как, говорят они, всякому поземельному собственнику принадлежат плоды, приносимые его участком, то следовательно и т. д., — другими, словами повторяют нелепое мнение Плюке. Всякое произведение автора заключает в себе более или менее развитую мысль, которая имеет свое особое существование, независимо от печатной книги, рукописи и даже слова. Речь, в которую облекается эта мысль, бумага и буквы, с помощью которых эта речь, сначала придуманная, потом сказанная, становится видимою для глаз, вовсе не дети этой мысли, не плоды её, а только способы её проявления. Это посторонние продукты, являющиеся на помощь автору, подобно тому, как повивальная бабка является на помощь родильнице. До какой степени верно подобное мнение, доказывается тем, что продукт типографский, как вспомогательный, оплачивается автором, или издателем прежде, чем самый труд автора будет вознагражден.

Г. Виктор Модест, проводя эту ложную аналогию между литературным произведением и поземельным участком, восстает против выражения: заработная плата, которым некоторые неловкие противники бессрочной монополии хотели определить авторское право. «Автор,

говорит он, ни от кого не получает жалования, он не отдает своего сочинения в наем, он не пишет по заказу и, следовательно, название заработной платы неточно, извращает самое понятие». Хорошо, — отбросим это название, идущее только к некоторым специальным объектам мены, и скажем просто, что автор — производитель; что, следовательно, он имеет право на вознаграждение за то, что передает публике результат своего труда. Но что же выиграет из этого г. Виктор Модест? Продукт за продукт, услуга за услугу, идея за идею, ценность за ценность: мы все таки остаемся в области мены и не входим в сферу права собственности.

Некоторые писатели вздумали восставать против бессрочной монополии во имя общественной пользы. Несчастный аргумент: если бы бессрочность прав писателя действительно вытекала из того, что он производитель, как пытались доказать защитники литературной собственности, то против такого вывода не могла бы устоять никакая общественная польза; пришлось бы или признать за автором право собственности, или изобрести какой нибудь эквивалент. Тут нужно говорить о публичном праве, а не об общественной пользе. Литературное произведение, раз обнародованное, становится уже публичным достоянием и, за выделом авторских прав, всецело уже принадлежит обществу.

Докладчик закона 1791 года Шапелье сделал ошибку, сказав «когда привилегия на исключительную продажу кончается, то возникает право собственности для целого общества». Выражать подобное мнение, значит не понимать сущности договоров купли-продажи и мены, в особенности же того договора, который предполагается заключённым между автором и публикою. При всякой купле-продаже и при всякой мене — право собственности для приобретателя начинается только с момента отпуска или принятия товара. Что касается до книг, то моментом отпуска их считается момент поступления их в продажу. Не будем, подобно Шапелье, смешивать права собственности на литературное произведение с правом на продажу книг. Объект права собственности составляет содержание книги и это право прекращается для автора и начинается для публики с момента поступления книги в продажу. Что касается до привилегии, обеспечивающей вознаграждение автора, то она интересуется только торгующих книгами и точно так же с истечением известного срока прекращается для автора и распространяется на всех книгопродавцев.

На этот ввод публики во владение произведением, за которое она платит, защитники литературной собственности смотрят как на узурпацию. Сказав, что сообщение сочинения публике есть жатва, собираемая автором, аббат Плюке утверждает, что на это сообщение имеет право один автор и никто без его позволения не может познакомить публику с его трудом. Подобное сообщение публике чужого сочинения, прибавляет г. Лабуле, отец, есть ничто иное, как кража; поступать таким образом все равно, что жать хлеб на чужом поле... Они решительно не в состоянии сойти с этого пути!

Нельзя же смешивать сообщение по секрету, по доверию, с обнародованием. Покуда сочинение еще не издано, то конечно те, которым автор прочел его по секрету, не имеют права обнародовать его и со стороны их такой поступок был бы крайне неблагороден. Но если за сообщение сочинения заплачено, если экземпляр книги продан, то обнародование уже совершилось. Деньги, заплаченные за книгу, дают приобретателю её право

пользоваться ею, делать из неё какое угодно употребление, передавать ее другим, читать ее, делать из неё извлечения. Можно ли запретить любителю, купившему книгу, созвать к себе дюжину друзей и читать им эту книгу или давать ее на подержание знакомым? Все подобные действия пришлось бы запретить, если бы слушать ярых защитников собственности. Парижские рабочие нередко прибегают к складчине для того, чтобы купить книгу, которую каждый из них отдельно не в состоянии приобрести. Неужели же подобные ассоциации нужно преследовать во имя авторского права собственности?

Противники литературной собственности впадают в другую крайность. Со стороны их было заявлено мнение, что поддельщик, перепечатавающий книгу, — только осуществляет право пользования приобретенною им вещью. Как принцип, такое мнение совершенно основательно. Всякий имеет право, приобретя книгу, передать ее другому лицу, снять с неё копии и распространять их. Но в практике приходится ждать истечения срока авторской привилегии потому, что иначе автор был бы лишён законного вознаграждения за труд.

Но, скажут нам, если с момента обнародования сочинения право собственности от автора переходит к публике, то автор уже не может распоряжаться своим произведением, не может его исправить, изменить, увеличить, сократить, потому что подобные действия будут покушением на неприкосновенность общественного достояния.

На это весьма лестное для авторов возражение не трудно отвечать; да это, в сущности, даже и не есть возражение. Можно допустить, что во все продолжение срока привилегии, автор имеет право, в последующих изданиях, исправлять, даже сокращать свое сочинение и обогащать его новыми прибавками. Но он уже не вправе уничтожить своего сочинения потому, что с одной стороны, с коммерческой точки зрения, им уже овладела публика; с другой стороны, с точки зрения литературной добросовестности, автор не может отказываться от своих слов, он не может утверждать, что не говорил того, что сказано; что публика не читала того, что она прочла; что читатели не поняли, не усвоили себе его сочинения и потому не имеют права указывать ему на высказанные им мнения, от которых он отказывается. {6}

Но если писатель, обнародовавший свое сочинение, по принципу не вправе уже извлечь его из оборота, то тем менее подобное право может принадлежать наследникам его. Необходимо, однако, несколько изменить ту аргументацию, к которой прибегают в настоящем случае защитники прав общества. По их мнению одною из причин, побуждающих к уничтожению принципа литературной собственности, должно служить то обстоятельство, что иногда семья автора, по соображениям, которых автор вовсе не разделяет, может уничтожить или исказить его произведение. Но это рассуждение так же неосновательно, как и ссылка на требование общественной пользы, потому, что если собственность принадлежит автору по праву, то никакие соображения ни об личности автора, ни об семье не могут ее ограничить. Ясно, что легистам, о которых я говорю, обстоятельство это представляется в совершенно превратном виде. Литературная собственность не должна быть допущена не потому, что семья автора может злоупотребить ею и уничтожить произведение автора, но потому, что публика окончательно и безвозвратно вступила во владение книгою вследствие её обнародования и как автор, так и семья его, теряют право безусловного распоряжения этою книгою и вознаграждаются только выдачей им срочной

привилегии на исключительную продажу сочинения.

## § 8. О кредите и капиталах

*Понятия о сбережении, о капитале, о наемной плате и о коммандите{7} не приводят нас к понятию о литературной собственности, аналогичной собственности поземельной и не могут служить основанием бессрочной ренты*

Мне скажут, пожалуй, что теория моя неверна в самом основании потому, что построена на ложном уподоблении; скажут, что сделка, в которую автор вступает с публикою не имеет ничего общего с меною, а скорее подходит к условиям ссуды. {8\*} Действительно, литературное произведение отличается от большинства, промышленных тем, что оно не истребляется вследствие употребления. По этому-то передача этого произведения другому лицу не есть ни продажа, ни мена, а просто отдача на подержание. Так как эта отдача отнюдь не должна быть безвозмездна, то и следует допустить, что обнародование литературного, научного или художественного произведения может так же точно послужить основанием бессрочной ренты, как и отдача капитала в пользование другого лица, как и отдача в наем дома или корабля. Конечно писатель имеет полное право отказаться от всякого вознаграждения за свой труд; — кто же решится восставать против великодушия и самопожертвования? — Конечно он может также попользоваться своими авторскими правами в течении двадцати, тридцати лет, а потом отказаться от них в пользу общества. Но подобный отказ с его стороны будет великодушным подвигом и должен быть рассматриваем как дар; если такого отказа не последует, то здравый смысл и всевозможные аналогии доказывают, что писатель на вечные времена имеет право требовать уплаты процентов или ренты.

Я вовсе не думаю в настоящем случае толковать о процентном займе и о безвозмездности кредита, зная, что из этого поднялся бы новый скандал и противники мои пуще прежнего стали бы кричать о моих софизмах. Мне пришлось уже сказать это при споре с Бастиа, — я не хочу ничего брать даром; я нахожу, что если сосед мой дал мне хлеба или одолжил мне какую-нибудь вещь, то имеет право требовать вознаграждения. Я хочу только, чтобы меня не заставляли платить проценты, когда я могу обойтись и без этого; я имею полное право не прибегать к помощи постороннего коммандитария, если у меня есть средства иначе удовлетворить своим потребностям; во всяком случае я не хочу платить ничего, кроме должного. Таков мой взгляд на заем под проценты. Итак пусть успокоятся банкиры, владельцы акций и прочие капиталисты, как поземельного, так и движимого кредита; их права, как и права собственников, не будут нарушены. Я утверждаю только, что сообщение автором публике литературного произведения не кредитная операция, что это не ссуда, не отдача в наем, не коммандит, а просто торговая сделка — мена.

Все доводы моих противников противоречат и теории и практике политико-экономической. Читатель не замедлит в этом убедиться если проследит до конца за моими соображениями.

Во первых исходною точкою для моих противников служит совершенно ложная гипотеза, что интеллектуальное произведение не потребляется от употребления и потому не может

быть объектом мены. Следовательно они предполагают, что объектом мены могут быть только потребляемые вещи, а объектом ссуды только непотребляемые. Известно, однако, что и то и другое ложно: ссуда жизненных припасов может, например, подать повод к требованию процентов, а ссуда капитала, земель, домов — легко может обратиться в мену.

Потребляемость предмета тут ровно ничего не значит; по ней, без других признаков, нельзя даже узнать есть-ли данный договор — наем, ссуда или мена. Для распознавания их нужно искать других примет, нужно прибегнуть к другой диагностике.

Да кроме того, справедливо ли еще мнение, что интеллектуальные произведения по существу своему нетленны, вечны? Я уже замечал (§ 2), что мнение это неосновательно; мне остается только другими словами повторить свое замечание. Как в области философии и искусства, так и в области промышленности, человек не создает ни материи, ни идей, ни законов. Вещество как органических, так и не органических тел создано самой природой, человек не может ни уничтожить, ни создать ни одного атома. Идеи и законы открываются человеком вследствие наблюдения над вещами; ни изменить, ни изобрести их человек не в состоянии. Истина также от него не зависит; он может только шаг за шагом, путем усидчивых трудов, открывать ее и, по мере сил своих воплощать ее в слова, в книги, в произведения искусства. От него зависит также не признавать истины, не видеть ее, гнать ее; — в его воле прибегнуть к орудию софистики и лжи. Что касается до красоты и справедливости, то и они так же независимы от нашего разума и нашей воли, как истина и идеи; и тут опять нам предстоит только или приближаться к ним путем глубокого изучения, или отвергать их, не признавая ничего высокого, идеального. Тогда-то мы поймем, что значит поклоняться беззаконию и безобразию, которые подводятся к общему знаменателю — греха.

Но что же наконец производит человек, если он не творит ни материи, ни жизни, если он не создает идей, если даже не ему принадлежит открытие изящного и справедливого, — если в деле умственного труда вся заслуга его состоит в точной передаче истины, без искажений и преувеличений? —

Человек производит движения и формы; первые служат средством к тому, чтобы извлечь более пользы из существующих уже в природе тел, вторые приближают человека к истине и идеалу. На всех произведениях человека лежит отпечаток личности, случайности, непрочности, все они недолговременные, и требуют постоянных пересмотров. Таковы свойства произведений ума.

На какие сочинения изменение взглядов и ход прогресса должны бы иметь всего менее влияния? Конечно на сочинения трактующие о науках точных, о геометрии, арифметике, алгебре, механике. Однако и по этим наукам постоянно являются новые сочинения; почти сколько профессоров, столько и трактатов и притом, чем книга старше, тем менее ее употребляют. Чем объяснить подобный факт? — Тем ли, что истина изменяется? — Во все нет; но каждое поколение, даже каждый класс студентов требует новой формулы для выражения той же самой идеи, той же самой истины, того же самого закона; это значит, другим словом, что в 10, 15 или 20 лет книга отживает свой век. Форма устарела, сочинение достигло своей цели, принесло известную услугу обществу и потому должно прекратить

свое существование.

Итак нельзя сказать, что произведение писателя непотребляемо, вечно, что, следовательно, обязательство вознаграждать автора лежит не только на современниках его, но и на последующих поколениях. Вечны, повторяю я, только материя и идеи, т. е. такие вещи, которые не нами сотворены. Разве путем трансцендентальных соображений можно дойти до того, чтобы идеи обращались в собственность, порождали майораты и вели к основанию умственной аристократии; мы же к таким трансцендентальным соображениям не прибегаем, а черпаем свои суждения из торговой и промышленной практики, останавливаясь только на чисто экономических понятиях о производстве, мене, цене, заработной плате; обращении, потреблении, ссуде, кредите, проценте.

После этих замечаний о потребительности интеллектуальных произведений и свойствах меняемых и ссужаемых вещей, обратимся к теории капитала и кредита и будем применять ее к литературному производству.

Во первых, можно ли рассматривать, как капитал, литературное произведение только что вышедшее в свет? —

Всякому понятно значение слова капитал; это масса продуктов, скопленная посредством сбережения, которая служит средством для дальнейшего производства. Капитал не имеет самостоятельного существования; в нем нет ничего нового; он представляет только особый вид продуктов, имеющий свое специальное назначение. Так напр. для фермера капитал или, так называемый *cheptel*, составляют земледельческие орудия, скот, фураж, семена, съестные припасы, домашняя утварь, одежда, белье, — словом все припасы, служащие для работы или для содержания его семьи до времени жатвы. Капитал ремесленника составляют инструменты и первоначальный грубый материал, из которого он выделяет свои произведения. Дома, строения — такие же капиталы. Даже человека, если смотреть на него только как на рычаг производства, можно принимать за капитал; — здорового мужчину 25 лет, знающего какое-нибудь ремесло, оценивают средним числом в 25,000 франков.

Теперь уже не трудно найти в чем заключается капитал писателя. Капитал этот заключается в его воспитании, в собранных им материалах, в начатых им работах, в его библиотеке, в его переписке, в его наблюдениях, средствах, приобретенных им для существования до того времени, когда он получит вознаграждение за свое сочинение. Таков капитал писателя. Но не этот капитал пускается им в обращение, не этот капитал передается публике, которой он ни на что и не нужен. Капитал писателя, как и всякий капитал, употребленный на производство, почти невозможно ни продать, ни передать другому лицу потому, что он имеет значение только в руках того человека, который умеет придать ему ценность, а при продаже с аукциона за него не дадут и 10 % его настоящей стоимости. Итак, с точки зрения писателя, изданная им книга не капитал, а простой продукт.

Взглянем на предмет с точки зрения публики. Будет ли капиталом произведение автора превратившееся в публичное достояние? Сговоримся. Мы видели, в чем состоит капитал для каждого разряда производителей; он состоит из совокупности инструментов, орудий, сырых

материалов, купленных или выменянные, служащих орудиями дальнейшего производства. Словом — он служит фондом для последующего производства.

Итак понятия фонда, капитала тесно связаны с понятиями накопления, собрания, совокупности. Эта совокупность, эта сумма, смотря по роду занятий, может состоять из большего или меньшего числа продуктов. Эти продукты не составляют еще капитала пока находятся в руках производителей, они обращаются в капитал только с переходом в руки купившего их потребителя.

Таким образом проценты с обращенного в капитал продукта идут не в пользу производителя и продавца, но в пользу приобретателя. Так, пускай писатель вносит в цену своего произведения процент с той суммы, которую он употребил на свои путешествия или которую уплатил своим сотрудникам; он имеет на то полное право потому, что такое вознаграждение — есть процент на его капитал. Но смешно было бы с его стороны требовать от публики платежа бессрочной ренты за то, что сообщенное им публике сочинение сделалось общественным достоянием. Да, произведение писателя вошло в состав общественного капитала: интеллектуальное произведение индивидуума составляет частичку общественного имущества; но именно по этому-то индивидуум и не может требовать ничего кроме платы за продукт, кроме вознаграждения за труд. Если общественное имущество будет кому либо приносить доход, то конечно уже не писателю, а самому обществу.

Вот новое доказательство справедливости наших мнений; анализ понятия капитала приводит нас к тем же результатам, к которым вели и понятия о продукте и мене.

Но противники наши упорствуют. Почему, говорят они, не применить к литературным произведениям условий ссуды вместо условий мены? Почему вознаграждение автора, вместо раз заплаченной цены, не может принять форму процентов? — Вы допускаете принцип процентов; вы сознаетесь, что проценты применимы и к займу потребляемых предметов (*mutuum*) и к ссуде не потребляемых и даже недвижимых предметов (*commodatum*). Почему же не отдать преимущества этому, более удовлетворительному для авторского самолюбия, способу вознаграждения перед тем, который далеко не так справедлив и против которого столько кричат? —

Опять-таки сговоримся. Если вы требуете только замены купли-продажи кредитною операциею, то я ничего против этого не имею. Что такое в сущности, кредит? — Это длящийся обмен, порождающий для должника право — возвратить занятую сумму и, следовательно, уничтожающий бессрочность долга или, что одно и то же, бессрочность платежа процентов.

Таким образом торговец платит банку известный процент за дисконтирование векселя, полученного им за товар, — и это совершенно справедливо потому, что банк оказывает купцу услугу, доставляя ему капитал в то время, когда он еще не успел возвратить затраченной им суммы. Но ясно, что проценты платятся только до тех пор, пока сам банк не будет вполне вознагражден, т. е. они платятся до истечения срока дисконтируемого векселя.

По тем же основаниям и потребитель, покупающий в кредит платит за это известный процент продавцу, что также совершенно справедливо потому, что процент служит вознаграждением за отсрочку платежа. После производства уплаты, платеж процентов прекращается. Как в этом, так и в предыдущем примере проценты не имеют самостоятельного значения, а служат или вознаграждением за услугу или платою за кредит. Ни один банкир не согласится постоянно возобновлять обязательства своих должников, и всякий торговец ведущий дела только с помощью подобных операций, рано или поздно непременно должен обанкротиться .

Точно также и должник, обеспечивающий свой долг ипотекою, платит проценты, но все-таки с надеждою и с правом впоследствии освободиться от обязательства.

Точно также наконец кредиторы государства и акционеры общества железных дорог получают проценты с своих капиталов; но государство, тем не менее, сохраняет за собою право погасить долг; акционерные же компании учреждаются обыкновенно не более как на 99 лет. Большим несчастьем считается, если государство не погашает, а увеличивает свои долги, или если акционерная компания не возвращает в установленный срок всего своего капитала.

Кредит есть только другая форма мены; если ничего другого не требуют для интеллектуальных произведений, то, значит, нам не об чем спорить, вопрос остается *in statu quo*. Но очевидно, что противники мои имеют совсем не то в виду. Они требуют установления бессрочной ренты, которая столько же вытекает из понятия кредита, сколько из понятий производства и мены.

Таким образом уничтожаются сами собою все доводы моих противников. Притязания на учреждение литературной собственности основываются на одном только бессовестном вилении. Если произведение ума юридически уравнивается с продуктом, то оно и дает право только на определенное вознаграждение. Это вознаграждение может состоять или в назначении пожизненного пенсионера или в выдаче срочной привилегии на исключительную продажу сочинения. Требовать большего, значит выходить из границ и кредита и мены. Такой образ действий не соответствует условиям частной торговли, он даже хуже лихоимства, которое, по крайней мере, не длится до бесконечности.

Исполнить подобные требования значило бы поставить все общество в крепостную зависимость от писателей, а такое порабощение хуже прикрепления к земле.

## § 9. О господстве и личности. — Право завладения в области интеллектуальной

Допустим однако на время, что принцип литературной собственности основателен. За тем следует перейти к применению его, но тут то и окажется затруднение. Каким образом, в самом деле, установить эту собственность?

Конечно в основание её нельзя положить самое произведение автора; мы достаточно уже доказали, что от понятия о производстве далеко еще до понятия о собственности; мы доказали уже, что произведение, подчиняющееся условиям мены, спроса и предложения, передачи, уплаты, расчёта, не может служить таким фондом, из которого бы вытекала бессрочная рента.

Нельзя также положить в основание литературной собственности капитал автора; капитал этот важен только для самого автора, но бесполезен, и следовательно не имеет никакой цены для публики, которая пользуется только самым произведением автора. Что касается до понятий кредита и процентов, по аналогии с которыми хотели установить бессрочную ренту, то они решительно несовместны с понятием бессрочности.

Остается только распорядиться с миром духовным, с миром идей так же, как распорядились с землею, т. е. размежевать его на участки между частными владельцами. К этому-то именно и стремится г. де Ламартин.

«Человек трудится над обработкою поля или над изобретением выгодного ремесла. За это ему предоставляется право собственности на его произведения, а по смерти его это право переходит к наследникам, назначенным или законом или завещанием. Другой человек, забывая самого себя и семью, убивает всю свою жизнь на то, чтобы обогатить человечество каким нибудь гениальным произведением или новою идеею, которая произведет переворот в целом мире... Идея созрела, гениальное произведение вышло в свет; весь образованный мир пользуется этим произведением; торговля и промышленность эксплуатируют им в свою пользу; оно делается источником богатства, порождает миллионы, переносится из одной страны в другую, как растение».

«Неужели же этим произведением должны пользоваться все, кроме самого автора, его вдовы и детей, которые будут бедствовать в то время, как неблагодарный труд отца будет обогащать и общество и посторонних частных лиц».

Г. де-Ламартин принимает свои громкие, красноречивые фразы за доказательства. Гиперболы, антитезы, возгласы и декламация заменяют для него логику. От него требуют определения, а он рисует картину, — доказательства, а он призывает богов во свидетели, клянется своею душою, вызывает духов, плачет. Г. де Ламартин принадлежит к числу писателей, извлекших наиболее выгод из своей болтовни; он награжден, свыше заслуг своих, и деньгами и славою, — а жалуется на бедственное положение. Кто же в этом виноват? Можно ли обвинить общество в неблагодарности за то, что г. де Ламартин только и умеет что размышлять?

Я готов согласиться на исполнение желания г. де Ламартина, но нужно точнее знать чего именно он требует. Попробуем привести в ясность мысль этого великого рифмоплета.

Ему хочется, чтобы литературная собственность не смешивалась с простым владением литературным произведением или ценою его; ему хочется, чтобы она по отношению к миру интеллектуальному и нравственному была тем же самым, чем поземельная собственность в отношении мира промышленного и земледельческого. Тут, значит, требуется присвоить автору, самую идею, клочок интеллектуального и нравственного мира, а не формулу, не внешнее выражение этой идеи. Такое заключение очевидно вытекает из сравнения писателя, создающего и развивающего идею с человеком, который обрабатывает поле и, с дозволения общества, становится собственником этого поля.

Даже г. Фредерик Пасси, один из самых ярых защитников литературной собственности, столько же ненавидящий софистов как и г. де Ламартин, находит, что в высшей степени несправедливо таким образом защищать принцип раздробления общественной собственности и завладения ею посредством обработки; что подобные рассуждения ведут к уничтожению поземельной собственности; что люди, высказывающие подобные мнения, сознательно или бессознательно, становятся злейшими врагами права собственности. Так же смотрит на это и г. Виктор Модест. Я, с своей стороны, вполне согласен с гг. Фред. Пасси и Виктором Модестом; я готов обеими руками подписаться под такими рассуждениями и потому считаю требование г. де Ламартина совершенно неосновательным.

На каком же принципе может быть основана литературная собственность, — говорит г. Фредерик Пасси, — если для установления её недостаточно качества производителя, обработывателя и акушера идеи? Неужели она может возникнуть вследствие одного произвола законодателя? — Боссюэт и Монтескье, замечает г. Виктор Модест, утверждали, что поземельная собственность основывается единственно на положительном законодательстве. Но эта система в настоящее время брошена вследствие её односторонности, произвольности и наконец потому, что она не разрешает того страшного вопроса: почему законодатель, устанавливая право собственности, не разделит землю поровну между частными владельцами и не принял мер для того, чтобы и впредь, не смотря на все движение народонаселения, продолжало существовать подобное равенство? Устанавливая право собственности, законодатель, конечно, имел на то свои основания; он руководился соображениями общественного порядка, а такие соображения непонятны при неравенстве состояний. Но если, по современным понятиям, одной законодательной деятельности недостаточно для установления поземельной собственности, то для собственности интеллектуальной тем более нужны еще другие основания. Если допустить даже, что собственность поземельная введена путем законодательным, то неужели же из этого вытекает для законодателя обязанность, в видах симметрии, создать еще и собственность литературную? —

Что касается до права завладения или завоевания, посредством которого также думали объяснить происхождение литературной собственности, то конечно все юристы и экономисты отвергают его. Мысль о подобном праве могла явиться только в варварские времена феодализма, а в настоящее время никто не решится ее поддерживать.

Какой же принцип положим мы в основание поземельной собственности, если она не основывается ни на законе, ни на труде, ни на завоевании, ни на завладении? Для нас, однако, это важный вопрос потому, что принцип, на котором построена поземельная

собственность, по словам моих противников, служит в то же время основанием, или скорее предлогом, для установления собственности литературной.

Г. Фредерик Пасси, хорошо поняв насколько опасны для поземельной собственности и законодательная, и утилитарная, и завоевательная теория и разделив таким образом мнение софиста, стал искать другой точки опоры. Он углубился в психологические исследования и что же извлек из них? — Истину? Нет, увы! созерцать эту нагую богиню не дано старцам Мальтусовой синагоги. Г. Фредерик Пасси открыл, что человек — существо деятельное, одаренное разумом, свободой воли, отвечающее за свои поступки, словом существо, одаренное личностью; что, вследствие такой деятельности, разумности, свободы, ответственности, личности, — человек стремится присвоить себе, подчинить своей власти все окружающее; — таким образом и объясняется происхождение собственности. Бедный человек! настроив свое воображение психологическими мудрованиями, он и не заметил, что повторяет другими словами те же теории, которые только что опровергал.

Несомненно, что человек действительно существо деятельное, разумное, свободное, ответственное, корчащее из себя царя природы, но тем не менее достойное всякого уважения. Личность его, покуда он не нападает на права своих ближних, неприкосновенна; произведение его защищается, как святыня. Но что же из всего этого можно вывести? — Что человеку для развития и обнаружения своей личности нужны материалы, орудия, воспитание, кредит, мена, инициатива. Но всем этим потребностям может вполне удовлетворить владение в том смысле, в каком толкует его юриспруденция, определяет гражданский кодекс, понимает и применяет на практике большинство славянских народов. Такое владение, спасающее человечество от коммунизма, может удовлетворить вполне всем требованиям политической экономии. Ничего большего не требуют, как я уже имел случай указать, все теории, толкующие о производстве, труде, мене, цене, заработной плате, сбережении, кредите, и процентах. Гражданские и семейные отношения, даже самый принцип наследственности также не требуют ничего больше. Политическая экономия, конечно, не отвергает права собственности, но могла бы обойтись и без него; она не создала его, а нашла уже готовым; она только приняла, но не искала его. Таким образом, — не будь права собственности, — экономический мир от этого не пошел бы другим путем; но, при существовании права собственности, — узнать его происхождение и назначение, — составляет существеннейшую задачу нашего времени.

Для чего же существует это узурпационное учреждение, порожденное нашим произволом? — Очевидно, что, чем ни оправдывать право собственности, ссылаться ли на закон или на труд или на завоевание, считать ли его последствием свойственного человеку индивидуализма, стремления к свободе, к власти, словом какое толкование ни принимать, нет никакой возможности оправдать права собственности с исторической и социальной точки зрения...

Но тут я должен остановиться; издатель предостерегает меня и кричит, что я нападаю на право собственности. Подобный терроризм, обнаруживающий скорее лицемерие, чем уважение к законам и учреждениям страны, составляет величайший позор для нашего времени. Как! я нападаю на право собственности, потому что я не соглашаюсь с экономистами, принимающими его на веру, и утверждаю, что оно составляет самую трудную

задачу для социальной науки, тем более, что по видимому, основывается единственно на осужденном Евангелием начале эгоизма! После этого — сказать, что доводы, приводимые Кларком — недостаточны для доказательства существования Бога, значит — нападать на божество. После этого сказать, что всякая попытка доказывать реальность материи и движения содержит в себе противоречие, и круг в объяснении, — значит сделаться скептиком и нигилистом. После этого разоблачение невежества и постановка вопросов — есть поругание всех законов божеских и человеческих. Но при таких условиях не может существовать никакая наука, никакая философия; при таких условиях не мыслимо даже существование какой либо политики, какого либо государственного управления.

Паскаль в своих «Pensées», начинает с того, что унижает человека, намереваясь впоследствии его прославить и возвеличить. Можно ли сказать, что развивая теорию первородного греха, Паскаль вооружается и против Бога и против рода человеческого? — Почти таким же образом я отношусь к праву собственности. Я принужден отвергнуть его, если буду обращать внимание только на те мотивы и принципы его, которые выставляет школа; но я готов защищать его во имя более возвышенного принципа, когда мне укажут на подобный принцип. Что же могу я сделать для права собственности, покуда я не добрался до истинной его сути, как не освободить его от тех пошлостей, которыми оно компрометируется? {9}

Пусть читатель простит мне мое увлечение и, положа руку на сердце, скажет, — возбуждают ли в нем слова мои опасение за право собственности и напротив того не уясняет ли ему вопроса, не успокаивает ли его моя аргументация. Конечно, соглашусь я с г. Фредериком Пасси, человек, вследствие своего индивидуализма, стремится к завладению, к господству. Но это еще только стремление и нужно прежде всего узнать на чём оно основано, — на ясном сознании права, как желательно думать для всякого собственника, или на порочном побуждении, как утверждают все коммунисты, начиная с Миноса, Ликурга, Пифагора и Платона. Во-вторых нужно определить условия, правила и пределы этого стремления; нужно решить на чём оно должно остановиться: на праве пользования, на usufructe, на владении, на эмфитеузисе или на праве собственности? Право собственности есть право владычества; но справедливо ли, разумно ли с точки зрения социальной допускать такое владычество индивидуума? — Не все люди могут быть собственниками; кто же попадет в число избранных? — Какое вознаграждение, какую гарантию дать прочим?... Заметьте, что экономические соображения тут ровно ни к чему не ведут: нельзя сослаться ни на интересы производства, ни на интересы земледелия потому, что в большей части государств земля обрабатывается фермерами, арендаторами, а не собственниками. Наконец каким же образом, вследствие каких высших соображений, до сих пор остающихся неизвестными, возникло понятие права собственности. Чрезмерное развитие института права собственности погубило Италию, *latifundia perdidit Italiam*, как говорят историки описывающие падение римской империи; с другой стороны нам случалось слышать, что право собственности может служить синонимом злоупотребления. Как согласить все эти мнения? — Может ли право собственности быть ограничено не потеряв своего характера? Где провести подобные границы и какой закон их установит? — Вот что должен бы объяснить нам г. Фредерик Пасси, но вместо чего он отделался пошлейшим софизмом (я применяю к нему тот же эпитет, которым он меня наделил) и ответил на вопрос — вопросом же.

Итак люди, требующие установления литературной собственности, надменно надписывающие на своих брошюрах (которые составляются не иначе как вчетвером): мы — экономисты, мы — юристы, мы — философы, подразумевая под этим, что противники их — только софисты; эти школьные педанты, невежества которых стыдится даже их аудитория, не знают — что такое поземельная собственность, которую они хотят взять за образец для задуманной ими подделки; они не понимают социального значения поземельной собственности и не в силах отыскать причин её происхождения. В их лагере сколько голов, столько и различных мнений и трудно решить какое качество в них преобладает, — высокомерие или непоследовательность. Если кто либо осмелится разоблачить всю пустоту их доктрин, то вместо всякого ответа они обвиняют подобного критика в богохульстве. Потомство произнесет свой приговор над этою гнусною шайкою, столько же невежественною, сколько и недобросовестною и на нее падет ответственность за всю ту грязь, за весь тот кретинизм, в который погружена современная Франция.

Здесь неуместно было бы, повторяю я, разыскивать вследствие каких политических, экономических и социальных соображений цивилизация пришла к установлению права собственности, — такого института, объяснить которого не в состоянии ни одна философская система, но который, тем не менее, устоял против всех нападков. В подобном изыскании нет необходимости для разбираемого нами вопроса. В силу известной аксиомы: *pro nihilo nihil*, я полагаю, что и право собственности не могло возникнуть из ничего; что оно имеет свои общественные и исторические причины. Пускай сторонники литературной собственности, взбешённые тем, что не сумели доказать её законности, накинутся с досады на поземельную собственность; пускай они затронут ее, если только смеют, и я, быть может, возьмусь за её защиту и еще раз покажу этим невеждам на что способен софист. В настоящее время, принимая право собственности за существующий факт, я ограничусь заявлением, что не только не думаю восставать против этого права, но напротив того хочу опираться на него в настоящем споре и буду только доказывать, что существование поземельной собственности ни каким образом не может служить оправданием для введения права собственности интеллектуальной и что подобного установления вовсе не требуется ни для обеспечения прав общества, ни для обеспечения свободы частных лиц, ни для охранения общественного благосостояния, ни для защиты права производителей.

Иное дело — право производителя на плоды, произведенные его трудом и право собственности на поземельный участок, которое сверх того, жалует ему общество. Производитель по праву владеет своим продуктом, но право собственности на поземельный участок предоставляется ему обществом в виде дара. Я не порицаю общества за такую щедрость, я думаю, что она основывается на высших, неизвестных нам соображениях, и что если институт собственности до сих пор содержит в себе много несправедливого и со времен Римлян сделано весьма немного для увеличения его правомерности, если наконец, в настоящее время, институт этот потерял прежнее свое значение и обаяние, то этим может быть главным образом он обязан нашему невежеству. Но принимая право собственности поземельной за существующий факт, неужели нам необходимо, требовать от общественной власти, чтобы она подвергла область умственную, духовную такой же регламентации, какая применяется к земле? — Конечно нет, потому что между этими двумя сферами нет ничего общего; духом и материю управляют не одни и те же законы. Допустить подобное подчинение одним и тем же законам совершенно различных сфер было бы так же нелепо,

как посадить райских птиц на пищу геен и шакалов.

Кроме того, и сами защитники литературной собственности думают совсем не то, что говорят. Истощив весь запас своих доводов в защиту своего кумира, по свойственной им непоследовательности, они кончают тем, что отвергают то условие, которое одно только и могло придать некоторую возможность осуществлению химеры, которую они проповедают.

Будем помнить, что вопрос не в том только, чтобы обеспечить литератору справедливое вознаграждение за его произведение, но в том, чтобы установить в пользу его собственность, подобную поземельной. Тут, следовательно, пришлось бы частным лицам присваивать общий фонд, из которого черпают все производители. Возьмем пример.

В поэме, на составление которой он употребил 11 лет, Вергилий воспел происхождение и древность римского народа. Во всей истории рода человеческого вряд ли удастся насчитать много таких образцовых произведений, какова Энеида, не смотря на все недостатки, в ней встречающиеся. Конечно труд великого поэта имеет не менее значения, чем труд земледельца, которому верховная власть дарит в полную собственность клочок земли, им обработанной. Вергилий распахал поле Латинских преданий; он вырастил цветы и плоды на такой почве, которая до того производила только терновник, да крапиву. Август щедро наградил его за это сочинение; но осыпав поэта своими милостями, император вознаграждал только производителя за труд: оставалось еще создать право собственности. Итак Вергилий умер, но Энеида спасена от огня; следовательно наследникам поэта должно принадлежать исключительное право воспевать Евандра, Турнуса, Лавания, прославлять римских героев. Всякому поддельщику и литературному вору (*plagiaire*) запрещается воспевать любовь Дидоны, перелагать в латинские стихи Платоновы доктрины и религию Нуммы. Лукан не имеет права на издание своей Фарсалы; — это было бы нарушением прав Вергилия, — нарушением тем более предосудительным, что, враг императоров, Лукан отзывается о Помпее, Катоне и Цезаре вовсе не так, как подобает верноподданному. Самому Данте придется воздержаться: пусть он перелагает в песни христианскую теологию и осуждает на всевозможные адские муки врагов своих гвельфов, — это ему дозволяется; но путешествие его в ад, хотя бы и в обществе Вергилия, есть ни что иное, как литературная кража.

Вот на каких началах должна бы построиться литературная собственность, если бы обратить внимание на аналогию с собственностью поземельною и на феодальные тенденции. При господстве феодализма все основывалось или стремилось основываться на привилегиях: одна церковь могла разрешать все вопросы, относящиеся до религии; одно духовенство могло отправлять богослужение; один университет мог преподавать теологию, философию, право, медицину, — право иметь 4 факультета составляло, да и до сих пор составляет, — привилегию университета. Военная служба была доступна только для дворян; судебная власть мало-помалу сделалась наследственной; ремесленным корпорациям, цехам предписывалось придерживаться определенной законом специальности и не вторгаться в сферу других цехов. Делая Расина и Буало своими историографами, Людовик XIV может быть и не думал о том, чтобы предоставить их наследникам исключительное право повествовать об его великих деяниях; по принципам того века (которых и в настоящее время держится г. де Ламартин) Людовику XIV весьма легко было бы установить подобную привилегию. Если бы какому нибудь юному поэту вздумалось издать свои стихотворения

под названием: «Поэтических размышлений»{10\*} (Méditations poétiques), — разве г. Ламартин в глубине души своей не счёл бы подобный поступок за воровство, за подделку? — Гг. Фредерик Пасси, Виктор Модест и П. Пальютте в предисловии к своей книге пишут: мы — экономисты, и как будто бы кричат публике: Берегись! — те, которые нападают на литературную собственность — не компетентные в этом деле судьи; они не экономисты, у них нет диплома от академии, их сочинения издаются не Гильоменом, — следовательно, они не имеют права голоса.

Эти то знаменитые экономисты пьются от последствий, естественно вытекающих из провозглашённого ими принципа; так что не только для посторонних лиц, но и для них самих перестаёт быть понятным, — чего они хотят? —

«Идеи, говорит г. Лабуле, отец, составляют общее достояние, которое частному лицу так же трудно присвоить как воду морскую или воздух. Я пользуюсь идеями, которые находятся в обороте, но не обращаю их в свою собственность. Человек добывает из моря соль, другой пользуется воздухом для приведения в действие мельницы, оба сумели создать себе частную собственность, частное богатство; но разве это мешает и прочим людям пользоваться теми же неистощимыми источниками и разве, вследствие того, что воздух принадлежит всем, всякий имеет право завладеть моею мельницею?» —

Последняя фраза ничто иное, как скачок. Мельница есть имущество недвижимое вследствие того, что она прикреплена к земле; не будь этого прикрепления, она была бы частью капитала. Пример, приводимый учёным юристом и экономистом г. Лабуле, говорит, следовательно, не за право собственности, а против него. Тот же писатель прибавляет:

«То же самое можно сказать и о книге, с тою только разницею, что литературное произведение не приносит ущерба общему фонду, но скорее обогащает его. Боссюет написал «Всемирную Историю»; Монтескье издал в свет «Дух Законов»; мешает ли это другим писателям составлять новую всемирную историю или открывать новый дух законов? — Уменьшилось ли число находящихся в обороте идей? — Расин написал «Федру», но это не помешало Прадону выбрать тот же сюжет, и никто не счёл подобного поступка контрафакцией. Пишите историю Наполеона и пользуйтесь при этом трудами г. Тьера, но не перепечатывайте текста его книги потому, что подобная перепечатка была бы таким же очевидным преступлением, как и покража плодов, растущих в моем саду».

Приводя цитаты из сочинений подобного экономиста нужно бы комментировать каждую его фразу. Книгу нельзя сравнивать с мельницею потому, что книга — продукт, который может войти в состав капитала разве тогда, когда из книжной лавки попадет в библиотеку учёного; мельница же, построенная на земле, входит в состав того права собственности, которое признано законодателем, вследствие неизвестных нам соображений. Правда, что литературное произведение обогащает общество, но тоже самое делают и прочие продукты. Литературный вор, конечно, преступник, но не такой, как человек, укравший, плоды, выросшие на чужом поле. Это объясняется тем, что сочинение автора есть его продукт, плоды же составляют прибыль, приобретаемую собственником по праву приращения (accession). Я не стану останавливаться на этих мелочах, но обращаю внимание только на главную мысль.

Итак, по мнению г. Лабуле, область интеллектуальная, в отличие от области земной, не подлежит присвоению. Пускай человек приводит свою мельницу в движение посредством воздуха, воды или пара, мельница все таки будет ему принадлежать; но самая мысль об употреблении воздуха, воды или пара как орудий движения, самая мысль о замене ими рук человеческих не может быть объектом права собственности. Правда, что тут иногда может быть речь о привилегии; но заговорить о привилегии, — значит вернуться к обыкновенному положению производителя, которого вознаграждают за труд, предоставляя ему на известное время исключительное право распространять свой продукт, и извлекать из него прибыль. При такой оговорке мнение г. Лабуле безупречно: изобретение может породить право первенства (*priorité*), но не может служить поводом к установлению права собственности. Скажут ли нам наконец, — г. г. экономисты, юристы и философы — чего они добиваются и на что жалуются? — До сих пор их решительно нельзя понять и требования их далеко еще не формулированы. Послушать их, так они самые энергические противники монополии. Пусть же они будут верны своим правилам и перестанут надоедать публике своими глупыми декламациями.

Земля разделена между частными владельцами и хотя теория права собственности еще окончательно не установлена, составляет еще не разрешённую задачу, но тем не менее поземельная собственность представляет собою многозначущий факт, занявший видное место и в международной политике и в отношениях частных лиц, факт, который принято объяснять высшими соображениями, которому принято приписывать возвышенную цель, не смотря на то, что ни этих высших соображений, ни этой цели мы не понимаем.

В настоящее время, когда мы только что начинаем знакомиться с наукою социальной организации, прилично ли заносить руку на это непонятное для нас учреждение, прилично ли перепутывать все понятия, не отличать неба от земли и перевертывать весь свет для удовольствия нескольких педантов? — На что жалуются литераторы? — разве положение их хуже положения других производителей? — Поземельная собственность возбуждает в них зависть; но подобное явление совершенно в природе вещей, и не худо бы им понять свое положение прежде, чем жаловаться на него. Пускай они, в ожидании новых благ, вместе с прочими людьми пользуются тем, что до сих пор добыто прогрессом. С тех пор, как прошла пора феодализма, земля, хотя еще и не составляет общей собственности, но доступна для всякого. Слуга, работник, арендатор, торговка, всякий может посредством сбережения части своих скудных доходов скопить хотя небольшой капитал, приобрести на него недвижимое имущество и говорить в свою очередь: я тоже собственник! — Кто же мешает и литератору поступить таким же образом? — Подобные превращения постоянно повторяются; но обратить вознаграждение, следующее писателю, в какое то постоянное ростовщичество — значило бы перепутать все понятия и перевернуть весь социальный строй.

## § 10. Общий вывод: правительство не имеет ни права, ни возможности

# создать литературную собственность

Некоторые из лиц, слегка противившихся утверждению спроектированного закона, увлечённые ложною аналогией с поземельною собственностью соглашались, что правительство имеет право создать литературную собственность подобно тому как оно создало другие виды права собственности. Эта легкомысленная уступка ясно свидетельствует о том хаосе, который господствует в умах подобных людей.

Конечно правительство может сделать все, что ему заблагорассудится, если смотреть на дело только с точки зрения физической возможности. Если правительство желает что либо сделать, то кто же может остановить его, особенно если оно поддерживается и общественным мнением? —

Другой вопрос, если смотреть на дело так, что правительство может сделать все, что ему заблагорассудится, но в пределах экономических, естественных и общественных законов.

Так например: оно не может сделать, чтобы на вещь, которая по своему существу и назначению есть ничто иное, как простой продукт, смотрели как на фонд или собственность.

Оно не может также обратить договор мены в источник бессрочной ренты, хотя услуга или товар, служащий объектом мены может быть или разом оплачен или платеж может быть рассрочен на несколько лет.

Оно не может превратить платы за продукт в арендную плату. Оно не может, без нарушения законов, на которых основаны все общественные отношения, и без смешения всех понятий, постановить, чтобы на писателя, пустившего в оборот свои мысли, смотрели не как на простого производителя-меновщика, но как на невознаградимого командитария, в пользу которого, за его услугу следует создать наследственную, бесконечную ренту. Правительство точно так же не может сделать всего этого, как не может разделить воздух между частными владельцами или воздвигать строения на море, или производить без труда, или платить ренту всем и каждому.

Общество, вследствие высших соображений, еще не достаточно разъясненных, но неопровергаемых наукою, могло разделить землю между частными владельцами и создать поземельную собственность; оно могло сделать это, хотя подобное присвоение, по словам легистов, выходит из границ того права, которое производитель имеет на свои продукты, хотя политическая экономия вовсе не требует подобной уступки, хотя у многих народов право собственности не существует, а заменяется правом владения. Для того, чтобы установить интеллектуальную собственность правительству пришлось бы уступить писателю привилегию на те общие идеи, которые составляют общий фонд всех мыслителей. Но подобной уступки правительство не в состоянии сделать; такая уступка противна здравому смыслу, да никто её и не требует. Каким же образом назвать правом собственности простую привилегию — на воспроизведение и продажу с тою только целью, чтобы создать синекуру для наследников писателя.

Известны слова Буало:

Mais la postérité d'Alfane et de Bayard,

Quand ce n'est qu'une rosse, est vendue au hasard.{11\*}

Может ли правительство сделать, чтобы сыновья гениальных людей были также гениальны?  
— Конечно нет. Пусть же оно предоставит самому себе потомство гения; отцы — вознаграждены, наследники ничего не вправе требовать.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

## Нравственные и эстетические соображения

### § 1. Различие между вещами продажными и непродажными

Если в современных наших юристах и экономистах не осталось и признака того критического направления, которое так высоко ставили их предшественники, то литераторы наши, что еще хуже, перестали понимать в чём заключается преимущество их профессии и личное достоинство. Я вероятно удивлю не одного из них, когда выскажу мнение, что между теми вещами, которые находятся в обороте, на которые постоянно направляется наша деятельность и которым мы придаем известную ценность, есть такие, которые по существу и назначению своему продажные, — но есть и непродажные и что к числу последних относятся произведения художественные и литературные.

Вот мой новый софизм. Г. де Ламартин, который кажется тогда только и обращает внимание на вещи, когда они могут быть обращены в деньги; который, поэтому, открывает подписку за подпискою на свои стихотворные и прозаические сочинения; который для большего обеспечения требует, чтобы временную монополию авторов превратили в бессрочную ренту, вероятно, не разделяет моего мнения. Что же касается до тех экономистов и юристов, которые, как мы видели, хотя и требуют установления литературной собственности, однако, устами г. Лабуле, сознаются, что в области интеллектуальной нет места присвоению, то им вероятно любопытно будет узнать от чего это зависит.

До сих пор мы рассматривали писателя только как производителя полезной вещи и с этой точки зрения признали за ним право на вознаграждение; но в писателе есть еще и другая черта. Он преследует не одну утилитарную цель, он имеет в виду еще нравственное, идеальное воспитание. Идеал в области совести и в жизни, вот главный элемент литературного произведения, тогда как суть промышленного продукта заключается именно в его полезности. С этой точки зрения литературное произведение непродажно, — не порождает права на вознаграждение; в этом то и заключается главная причина неприменимости завладения к сфере интеллектуальной. Я утверждаю, что установление художественной и литературной собственности, если бы оно даже и было осуществимо, унизило бы искусство и литературу. Литература, заявляющая подобные требования,

противоречит и своему назначению, и прогрессу, словом подобная литература безнравственна.

Понятно ли? — Довольно ли смел парадокс?... О несчастные выкидыши революции! Восемьдесят лет тому назад подобная истина считалась общим местом; в настоящее же время ее приходится доказывать по всем правилам.

Много вещей по своей возвышенности выходит из области полезного, таковы: религия, правосудие, наука, философия, искусство, литература. Скажем обо всех их по несколько слов.

## § 2. О религии

Торговля Евангелием противна духу Христианства. Иисус Христос говорил своим ученикам, что они должны даром передавать другим людям то, что сами получили даром. Торговля Евангелием, которая пришла на ум Симону, в глазах церкви составляет смертный грех, преступление против Бога, которое и называется Симониею. В позднейшие времена церковь, правда, несколько отклонилась от первоначального направления. Было время, когда епископы владели обширными поместьями, аббаты держали рабов, монастыри обогащались вынужденными дарами. Но принцип остался неизменным, церковь не хочет, чтобы слуги её собирали подаяния, она не терпит симонии.

Не одна христианская, но и другие религии держатся того же правила. Будда, Конфуций, Сократ, все они проповедовали свое учение безвозмездно, питаясь чем попало и при случае жертвовали жизнью за убеждения. Магомета обвиняли в лицемерии и в тщеславии, но и он не извлекал выгоды из продажи Аль-Корана.

## § 3. О правосудии

Подобно тому как религия порождает особое сословие — духовенство, так и правосудие ведет к образованию особого класса должностных лиц — судей. И судьи и духовные лица живут жалованьем или вознаграждением за труды, но нельзя сказать, чтобы они получали плату. Тяжущийся, который, выиграв процесс, хотя одним словом поблагодарит судью, тем самым наносит ему величайшее оскорбление; в этом случае и предложение и принятие какого бы то ни было подарка — преступно. Если судья Гозман (Goezmann) был виноват, то не менее преступен был и Бомарше. Но сколько труда предстоит честному судье для раскрытия истины, сколько он должен иметь терпения, охоты, знания! Литераторы смеются над судебным слогом, но всякое решение, хорошо мотивированное и коротко изложенное, должно быть рассматриваемо как произведение образцовое, классическое не только по содержанию, но и по стилю. Но был ли когда-нибудь пример продажи сборника судебных решений в пользу постановивших их судей? Сборник Даллоза приносит выгоду собирателю, но не судьям, доставившим материал для его книги. Нет должности труднее судейской, а между тем попробуйте поговорить с судьей о прибыли, подобно смешанной комиссии

(commission mixte), собранной в Париже, для прений о литературной собственности, попробуйте сказать ему, что воспроизведение его решений, так тщательно мотивированных, строго логичных, точных, полных юридических сведений, составляет его исключительное право и посмотрите как будет принято ваше предложение. До революции пробовали было обеспечить положение судей тем, что в пользу их назначены особые судебные пошлины (érise), но этот унижительный способ вознаграждения уничтожен в 89 году, потому, что он делал правосудие продажным. Поступать сообразно требованиям справедливости трудно; за выполнение этого трудного дела, за хорошее поведение, детям дают награды, но взрослых людей не прилично вознаграждать за подобные поступки. Отправлять правосудие, применять закон к другим лицам еще труднее; но именно поэтому то подобное занятие и должно исключить всякое понятие о продажности.

## § 4. О философии и науке

Французское законодательство о привилегиях на изобретения ясно выражается, что философские и научные принципы, т. е. открытия законов природы и законов общественных не могут подлежать присвоению{12\*}. Продажа истины так же отвратительна, говорит законодатель, как и продажа правосудия. Можно ли себе представить, чтобы римляне, пославшие в Афины депутацию для того, чтобы списать афинские законы дали афинянам какое-нибудь вознаграждение за подобное заимствование? — Знаменитый Сиес опозорил себя тем, что продал свою конституцию Бонапарту. К философу применяются те же принципы, что и к законодателю, и к судье, и к священнику; награда его заключается в распространении той истины, которую он проповедует.

Ни неизвестный изобретатель арабских чисел, ни основатель алгебры Виетта, ни Декарт, применивший алгебру к геометрии; ни творец дифференциального исчисления Лейбниц, ни изобретатель логарифмов Непир, ни Папен, открывший значение и полезное применение пара, ни изобретатель знаменитого столба — Вольта, ни Арого, предвидевший возможность применения электромагнетизма к телеграфу за 15 лет до его изобретения; — никто из этих людей, открытия которых имеют громадное значение и для науки и для промышленности не мог бы получить привилегии на свое изобретение. Для этих великих умов обязательно бескорыстие. Неужели несправедлив закон, таким образом отделяющий учёного, который открыл идею, принцип, и который ничем за это не вознаграждается, от промышленника, делающего практическое применение этого принципа и получающего за то привилегию? Нет, закон справедлив, ложно только его применение, несостоятельна только наша диалектика.

Конечно, нужно, чтобы и учёный, и философ, и священник, и судья чемнибудь да жили, а им запрещается заниматься спекуляциями. Как, скажете вы, они осуждены на нищету потому, что на их долю выпало открыть идею, которою первый встречный воспользуется для своего обогащения посредством простого её применения! Неужели каждый из этих учёных не имеет права сказать: мои цифры, моя алгебра, мой анализ, мои логарифмы, мой столб, подобно тому как какой-нибудь Уатт говорит: моя машина?

Нет, отвечает закон. Истиною нельзя торговать, ее никто не может себе присвоить. Пусть найдут средство обеспечить безбедное существование мыслителя, не прибегая к помощи торговли. Что касается до применителя, то его деятельность совсем иного рода, он решается на предприятие, исход которого неизвестен; излишек дохода в этом случае служит только вознаграждением за риск. Пусть регулируют барыши, говорит закон, пусть уменьшают риск, пусть уравнивают шансы, — это будет благоразумно с точки зрения экономической и я ничего против этого не имею; но выносить истину на рынок — безнравственно. Продажность унижает и губит истину, точно так же как и религию и правосудие.

Итак в сферу науки и совести нельзя вносить понятия продажности. Слуга истины, философ, стоит в точно таком же положении как и судья. Взвзвись за проповедование истины, или по крайней мере того, что он считает за истину, философ таким образом принимает на себя обязательство, которое нарушает, если начинает торговать истиною. В наше время, являлся человек, одаренный необыкновенным гением, который торговал абсолютом. Призванный за это к суду исправительной полиции он запятнан и в глазах современников и в глазах потомства именем шарлатана. Покрытый позором и при жизни и после смерти Гене Вронский (Hoené Wronski) исключён из списка философов.

Вследствие неприменимости понятия продажности к идеям — деятельность священника, философа, учёного должна быть безвозмездна; я понимаю под этим, что они не должны обращать в ремесло, или в товар тех мыслей, которые они провозглашают и что вознаграждение, им назначаемое, в какую бы форму оно ни было облечено, не может быть рассматриваемо, как заработная плата. На эту плату нужно смотреть, как на пособие или вознаграждение, соразмеряемое не с ценностью услуги или сообщения (и те и другие неоценимы), но с физическими потребностями человека. Везде и во все времена народы стремились к тому, чтобы поддержать уважение к духовенству, судейскому и профессорскому сословию, для чего и старались вывести этих лиц из нищеты. Здравый смысл указал обществу, что за подобные должности нельзя назначить платы; что их нельзя перевести ни на какое количество золота или серебра, ни на головы скота, ни на рабочие дни. Тут приходится отбросить утилитарную систему. Между тем как промышленник включает в цену своего продукта и расходы производства, и редкость предмета, и настоятельность потребности в нем, и работает таким образом из-за барыша, интеллектуальные производители не высчитывают своего труда и убитого на него времени; они довольствуются насущным хлебом, требуют только необходимого для их существования. Это люди, созданные для самопожертвования, они не знают барышничества.

Поэтому-то я считаю непристойными и унижительными и для церкви и для науки следующие слова вышеупомянутой смешанной комиссии: «Профессора и проповедники передают публике только свои слова; но им одним принадлежит право воспроизводить эти слова (в видах извлечения выгод) путем печати». Такой несчастный софизм мог явиться только в эпоху всеобщего упадка и продажности. Профессор, оратор, продающий за деньги сказанные им речи поступает несправедливо и неприлично. «Из одного и того же мешка нельзя брать двух мер пшеницы»; профессор, поступающий таким образом, виновен в грехе симонии, в лихоимстве. Я допускаю некоторые уступки, я могу смотреть сквозь пальцы на

некоторые злоупотребления; но совесть моя возмущается при виде, что злоупотребления возводятся в принцип.

## § 5. О литературе и искусствах

Рядом со святым, справедливым, истинным, нам следует рассмотреть и изящное. Можем ли мы, на основании политико-экономических данных, сказать, что и в сфере литературы и искусства также нельзя допустить продажности? — Я попробую не доказать подобную возможность, но только дать ее почувствовать потому, что в вопросах личного вкуса и совести главная роль принадлежит не рассудку.

Заметим прежде всего, что между сферами религии, правосудия, науки и сферами поэзии, красноречия и искусства существует тесная связь, вследствие которой они подчиняются одним и тем же законам. Литература и искусство первоначально относятся к правосудию, как форма в метафизике относится к содержанию. Впоследствии между ними проводится резкая граница, но сначала судьба их солидарна.

Нравственные и религиозные идеи воплощаются в поэтических произведениях, проявляются в гимнах, храмах, статуях, картинах, легендах, мифах и т. п. произведениях искусства, в которые входит и элемент промышленный, но которые тем не менее не могут служить предметами торговли. Можно ли представить себе царя Давида, берущим деньги за свои гимны, или архитектора Гирама — собирающим плату за вход в храм, им построенный; Боссюэта — требующим вознаграждения за свои речи, или наших священников — взимающими с католиков плату за крестный ход, совершаемый в праздник?

Тоже можно применить и к светским произведениям искусства. Первоначально законы писались стихами, которые дети выучивали наизусть, — так по крайней мере говорит Цицерон о законах двенадцати таблиц, но ни кому и в голову не приходило считать их собственностью законодателя. Барду, воспевающему сражение давали награду, но его услуга не покупалась на деньги. Тиртей, требующий от лакедемонян платы за свои песни, потерял бы всякое обаяние. Еще труднее вообразить себе Руже де Лиля (Rouget de l'Isle) требующим после жемманской битвы вознаграждения за свою «Марсельезу» и опирающимся при этом на принцип экспроприации вследствие требований общественной пользы. Я хочу высказать довольно жестокое желание: Руже де Лиль умер, забытый всеми, в глубокой нищете; злопамятность правительства и реакционная эпоха были тому причиной, но я был бы сильно огорчен если бы правительство сжалилось над ним и назначило ему пенсию. Я готов стоять за сооружение памятника Руже де Лилю, но я восстал бы против назначения ему жалованья. В одну прекрасную ночь его посетил гений революции и передал ему слова и голос Марсельезы. После того Руже де Лиль пробовал было продолжать карьеру певца, но неудачно. Это доказывает, что мысль, выраженная им в Марсельезе, принадлежала не столько ему, сколько обществу; что она относится к числу вещей неоценимых.

Руже де Лиль был в бедственном положении, — до этого никому нет дела, кроме разве друзей его. За великое произведение, обессмертившее его имя, республика не обязана была

награждать его ничем, кроме венка. Вопреки господствующему предрассудку, я утверждаю, что любовь к родине и поступки, вызываемые этим чувством, — непродажны. Поэтому, литератор и художник настолько же отличаются от промышленника, на сколько солдат-гражданин отличается от солдата-наемника.

В настоящее время литература и искусство могут быть свободны, т. е. не зависеть ни от церкви, ни от правительства, не преследовать ни религиозных, ни политических, ни педагогических целей. Будем ли мы применять наши строгие правила и к этой независимой литературе и к этому независимому искусству?

Будем говорить об истинном писателе, об истинном артисте, т. е. о таком, для которого чувство изящного стоит выше ремесленных и утилитарных соображений. Подобный человек, при полной своей независимости, не может отрешиться от святости своего призвания. Он передатчик, провозвестник божественных истин, он — просветитель общества, назначение его вытекает из самого его дарования. Таким образом, мы возвращаемся к своей исходной точке, к различию между вещами продажными и непродажными; первые составляют сферу полезного, вторые относятся к сфере совести, идеала и свободы.

Пусть поймут это гг. артисты и литераторы; поэзия, красноречие, живопись, скульптура, музыка, по существу своему так же неопределимы, как правосудие, религия, истина. Целый мир открыт для поэзии и искусства, никаких границ для них не существует; сами они служат одной только истине, отступить от которой не могут, не унижая своего достоинства. Только из соединения рассудка, права и искусства вытекает свобода человека, но каким же образом может осуществиться подобная эмансипация, если художник и писатель будут рабами чувственности, льстецами порока, если они будут трудиться из-за денег и хлопотать об одной выгоде, как откупщики или ростовщики? — Продажное искусство, как женщина, торгующая своею красотой, теряет все свое значение. Говорили, что искусство независимо от правил нравственности; из приведенного сравнения можно видеть в каком смысле и в какой степени может быть допущена подобная независимость. Есть на свете существа столько же прекрасные, сколько и порочные; есть напротив того и нравственно-безупречные, но обиженные природой. Между тем как порок мало-помалу уродует первых, — истина преображает и украшает последних; таким образом — красота и добродетель, безобразие и порок — в сущности — тождественны, синонимичны. Нет, искусство, — эта религия идеала — не может уживаться с безнравственностью. Никакой талант, никакой гений не справится с подобным положением; художник незаметно впадет в тривиальность, а из тривиальности в бесплодие и погибнет.

Выведем заключение: формы, в которые писатель и художник облачают религиозные, нравственные и философские мысли, на столько же священны, как и сама религия, нравственность, истина. Подобно тому, как судья связан требованиями справедливости, а философ — требованиями истины, — поэт, оратор, художник — связаны требованиями красоты. Они обязаны знакомить нас с этою красотой, потому что их задача — улучшить нас самих, потому что их работа состоит в том, чтобы подвергнуть критическому анализу самую нашу личность, подобно тому как философия подвергает анализу наш разум, а юриспруденция — нашу совесть.

Арабская пословица говорит: «Нужно припасать сено для осла, но не зачем ловить мух для соловья». Такое правило по-видимому несправедливо, на самом же деле совершенно основательно. Всякий автор, который может жить своими средствами, но тем не менее берет деньги за свои сочинения, поступает неблагородно. Даже для бедного писателя унизительна необходимость, заставляющая его торговаться с издателем. Истинный художник воспроизводит красоту ради её самой, а не для того, чтобы внести ее в ипотечные книги. Великий оратор, увлекающий аудиторию стремится отвлечь ее от мелочных интересов: обратите его в наемника и вы отрежете ему крылья, отнимите у него всю силу. Таким-то образом мы во Франции дошли до того, что только забавляемся громкими речами; нас не проймешь красноречием, как не проймешь и добродетелью. Да, г. де Ламартин, вы, опасаясь, чтобы кто-либо не похитил ваших стихов, или вашей прозы, но сами без зазрения совести пользующиеся чужим трудом, вы ясно показываете нам, что литературная собственность есть ничто иное, как литературное попрошайничество. Хорошо если бы вы могли во время остановиться и не показали бы нам, что она кроме того может еще дойти и до распутства.

Продажная поэзия, продажное красноречие, продажная литература, продажное искусство — разве не все этим сказано, разве нужно еще что либо к этому прибавлять? Если в настоящее время мы уже ничему более не верим, то значит все мы продажны, значит мы торгуем своею душою, своим рассудком, своею свободою, своею личностью, точно так же как продуктами наших полей и наших мануфактур. История сохранила рассказ о гражданине, который находясь в крайней нужде занял денег под залог тела своего отца. Многие ли из нас в настоящее время подумали бы о выкупе подобного залога? — Мы готовы скорее прибавить к нему наших жён и детей.

Что касается до вопросов о правительстве, об администрации и об общественной службе, то я позволю себе на этот счет отослать читателя к своему сочинению: «О теории налогов».

## § 6. Почему некоторые продукты и услуги не могут продаваться? — Причины литературного торгашества

Посредством простого противопоставления понятий я показал, что законы, управляющие сферою полезного, неприменимы к области совести, философии и идеала. Эти две сферы несовместимы, их нельзя смешать, не уничтожив. Если бы за труд платили одною благодарностью или аплодисментами, то это было бы насмешкою над трудом и необходимо повлекло бы за собою обращение рабочих в рабство. На оборот, религия — обращённая в доходную статью, — становится лицемерием, симониєю; правосудие — вероломством; философия — софистикою; истина — ложью; красноречие — шарлатанством; искусство — орудием разврата; любовь — животною похотью. Не я один имею подобный взгляд, в этом духе повсеместно выражается и общественное мнение, этого же направления держатся и все законодательства.

Различие между вещами продажными и непродажными так же глубоко с точки зрения политической экономии, как и с нравственной или эстетической точки зрения. Если бы мои противники, важно называющие себя экономистами и ex professo берущиеся за разрешение вопроса о литературной собственности имели ясное понятие о науке, её принципах, границах и подразделениях, то они шли бы таким путем:

Помня, что политическая экономия есть наука о производстве и распределении богатств всякого рода, материальных и нематериальных, светских и духовных, они определили бы понятие производства, показали бы, что нет различия между производительностью мастерового и литератора потому, что в обоих случаях дело в том, чтобы придать личную форму безличной идее, произвести видоизменение в материи, словом произвести силу.

Постановив таким образом вопрос они заметили бы, что между продуктами человеческой деятельности одни могут, а другие не могут быть оплачены потому, что продажность лежит в самой природе первых, но несовместима с последними. Они поняли бы, что подобное различие необходимо должно существовать и что от соблюдения этих противоречащих друг другу законов продажности зависит правомерность гражданских отношений, свобода личности, уважение человеческого достоинства, неприкосновенность общественного порядка. В самом деле, сказали бы они, не достаточно одного появления продуктов, нужно еще, чтобы эти продукты потреблялись, усваивались, ассимилировались — одни духовною, другие — телесною стороною человека. Для этой цели необходимо, чтобы продукты, предназначенные для физического употребления, составляющие область полезного, по преимуществу, обменивались, т. е. оплачивались ценностью за ценность; чтобы другие продукты, принадлежащие к категориям прекрасного, справедливого, истинного, распространялись безвозмездно, без чего разделение труда и распределение возмездных объектов потребления повело бы к рабству и обману. Человек ни во что не верящий, ничего не уважающий, скоро становится бесчестным человеком и даже вором. Но положе руку на сердце мы должны признаться, что имеем веру только в то, что дается нам даром, питаем уважение только к тому, за что не приходится платить. Только уважение к вещам неоценимым и заставляет нас добросовестно платить за те, которые ценятся на деньги.

Другими словами, для того, чтобы общество могло жить и развиваться, недостаточно указать только на законы политической экономии, объективно определяющие понятия о моем и твоём; нужно еще, чтобы эти законы всеми свято исполнялись, а этого нельзя достигнуть без постоянного, повсеместного и дарового распространения понятий о прекрасном, справедливом и истинном.

Таким способом эгоизм в социальной экономии примиряется с общественною пользою. Индивидуум имеет свои права, общество — свои.

Но, поспешили бы прибавить экономисты, так как судья, учёный, художник, хотя и производят вещи непродажные, но для поддержания своего существования принуждены потреблять продажные продукты, и так как у многих из этих людей нет состояния, то справедливо, чтобы общество доставило им средства к жизни. Только вознаграждение их примет совершенно иной характер и должно быть рассматриваемо не как плата за услугу, но как пособие. Прекрасного, справедливого, истинного нельзя сравнивать с полезным; в

настоящем случае дело идет не о купле-продаже продукта; но об вознаграждении человека. С этою-то целью закон устанавливает в пользу всякого автора срочную привилегию и дает ему средства удовлетворить своим нуждам, предоставляя ему в случае надобности прибегнуть и к помощи торговли.

Вот каким путем должно бы идти рассуждение, так как вся суть вопроса заключается в непродажности литературных и художественных произведений, в противоположность продажности произведений промышленных. Наконец вдобавок, и на тот случай, что учение о различии между вещами продажными и непродажными будет отвергнуто, как слишком смелая и парадоксальная теория, экономисты, ограничиваясь на этот раз одною сферою полезного, могли бы, так как поступил и я в первой части этой книги, доказать, что литературное и художественное произведение есть продукт — потребляемый и обмениваемый и что поэтому об установлении литературной собственности не может быть и речи.

Таковы принципы безусловной справедливости, они указывают на точку, в которой политическая экономия сходится и совпадает с нравственностью, они применимы ко всем временам и ко всем нациям. Люди, решающиеся отрицать их, похожи на тех патрициев древнего Рима, которые отказывали плебеям в праве вступать в брак и иметь религию, так как считали плебея недостойным таких таинств, или пожалуй, на рабовладельцев, полагающих, что негра не стоит и крестить.

Да, впрочем, разве нет и у нас таких публицистов, которые восстают против распространения образования в массе народа? — Разве и у нас журнальное дело не обращено в монополию, за установление которой на правительство постоянно сыплются упреки, но которая весьма выгодна для самих журналистов?...{13} Конечно, легко видеть, что если бы 30 лет тому назад, когда вопрос о литературной собственности был предложен нашим представительным собранием, наука провозгласила защищаемые мною принципы, а общество заинтересовалось ими, то мысль во Франции не была бы порабощена, а влияние партий и кружков не совращало бы общественного мнения с истинного пути.

Каким же образом мысль о литературной собственности до такой степени овладела всеми умами, что возведена в закон в самом благоустроенном из европейских государств? — Подобный феномен нельзя обойти молчанием, им стоит заняться потому, что он свидетельствует об упадке и нравственного и эстетического чувства.

В основании довольно распространенного в настоящее время мнения об интеллектуальной собственности, лежит несколько соображений. Для экономистов, оно вытекает из их стремления доказать, что писатели и художники, на которых большинство склонно смотреть как на паразитов, — настоящие производители, почему и имеют право, если не на заработную плату, то на какое нибудь вознаграждение. Происхождение этого несчастного мнения объясняется также тем безотчётным рвением, с которым многие с 1848 г. принялись за защиту права собственности. Мнение это есть ничто иное как полемическое преувеличение. Но, с точки зрения публики, заблуждение гораздо глубже; основание его лежит в той всеобщей деморализации, которая последовала за переворотом 89 и 93 г., деморализации, которая путем различных катастроф все увеличивалась в продолжении 70-

ти лет.

Французский народ, начав революцию, которая должна была обнять собою все слои общества, перевернуть весь строй его, не в состоянии был довести ее до конца. «Это было свыше сил наших», говорил изгнанник Барер. Отцы наши сначала храбро принялись за дело, но потом смутились, мы же только и делали, что пятились назад. Не знаю действовали ли бы другие на нашем месте смелее и успешнее, но мы потерпели поражение. Но если революция, доведенная до конца, способствует возрождению народа, то неудавшаяся революция неизбежно влечёт за собою нравственное ослабление и упадок нации. Огорчённые неудачей, потеряв всякую бодрость, мы упали со всей высоты своих принципов. Потеряв веру в самих себя, мы потеряли и всякое доверие к своим принципам, к своим учреждениям, мы стали скептически относиться даже к таким вещам, как добро, красота и благородство, к которым скептицизм совершенно неприменим. В настоящее время, безнадежное непостоянство взглядов, слабость характера и отсутствие добросовестности — составляют наши отличительные черты. Человек должен бороться и побеждать; если энергия его падает, то взгляды его быстро изменяются, честь и личное достоинство скоро ступёвываються и человек предается гниению.

## § 7. Политическое бессилие — первая причина литературного торгашества

Всякую истину нельзя установить иначе, как точным образом объяснив противоположное ей заблуждение. Так как в настоящем случае вопрос идет об нас самих, об нашем прошедшем и нашем будущем; так как спроектированный закон по своей основной мысли и по своим последствиям тесно связан с переворотами последних семидесяти лет, то я счёл не лишним взглянуть на отдельную ветку вместе с целым деревом и ближе проследить процесс прозябания. Я по возможности постараюсь сократить свои соображения; впрочем я не принуждаю читателя прочесть мою книгу от доски до доски, но считаю своею обязанностью не упустить ничего из виду.

Я говорил уже о том, что мы не могли или не успели осуществить своих реформационных замыслов; что следствием такой неудачи была деморализация, и что упадок нации выразился между прочим в продажности литературы и в предложении закона, который должен был бы обратить гениальные произведения в объекты права собственности.

В подкрепление этих положений я приведу несколько фактов.

Так напр.: мы пробовали ввести у себя монархическое правление и поставить целью его защиту свободы. Подобная цель входила в состав революционной программы; но осуществить ее нам не удалось. Перед нами был пример Англии, нам оставалось следовать указанному ей пути. Англичанин сказал себе: «я защитник монархии, я отстаиваю принцип королевской власти; но эта королевская власть должна быть такова, какой я желаю; король будет царствовать, назначать министров, служить точкою соединения между правительством и народною волею, выражаемою большинством; но он не будет управлять

страною, не будет иметь влияния на администрацию, — управление и администрация останутся за мною. Государь будет во всем разделять мое мнение и друзьями его будут только мои друзья»...

Произнеся самому себе подобную сентенцию, англичанин не прибавил однако по испанскому обычаю: *Y sino no*; он не предоставил своему государю права выбора и торга. Англичанин не так горд как испанец, но за то гораздо тверже его. Он захотел иметь государя, выполняющего все его желания и нашел такого. В английском народе и без того уже много недостатков, по крайней мере действительно хорошим его качествам следует отдавать должное. Не мало борьбы пришлось вынести Англии для того, чтобы достичь своей цели; один из честнейших её королей погиб на эшафоте, другой был изгнан из государства со всем своим потомством; верноподданные англичане оплакивали подобные бедствия; но наконец королевская власть покорилась, смирилась и в настоящее время живет в совершенном ладу с народом.

Франция — страна также монархическая (не знаю с какой стати *Indépendance Belge*, далеко не республиканская газета, недавно упрекнула меня за подобное мнение). — Франция страна монархическая до костей, демократизм её глубоко проникнут монархизмом. Напрасно впродолжении тридцати лет и ход событий, и голос личной выгоды, и парламентарная диалектика стремятся увлечь ее в другую сторону; инстинктивное влечение преодолевает все посторонние влияния. Франция искренно предана монархизму, в какой бы форме он не проявлялся — в диктаторской, в императорской, в президентской, в легитимистской или в орлеанистской; утверждающие противное говорят неискренно.

Так как в наше время невозможна монархия абсолютная, то Франция, по примеру Англии, вздумала обращать на путь истинный своих прежних деспотов. Для этого она перевезла своего короля из Версаля в Париж, вернула его из Варенна, заставила его присягнуть в верности конституции, надела на него красную шапку, а наконец взвела и на гильотину. Впоследствии она бросила Наполеона I, прогнала Карла X, свергла с престола Луи-Филиппа; два раза грозилась она ввести у себя республику и в результате всего этого получился Наполеон III. Можем ли мы в настоящее время похвастаться тем, что укротили, переделали монархическое правление, с которым никак не можем расстаться? Достигли ли мы того образа правления, который считали наилучшим отцы наши в 1789 г., к которому дважды возвращались их дети, словом того политического устройства, о котором думал Монтескье, которое хорошо понимал Тюрго, которого желало учредительное собрание, которое пробовали осуществить хартии 1814 и 1830 г., которого требует и в настоящее время большинство наших либералов?

Нет, монархический элемент и до сих пор преобладает в нашем государственном устройстве; мы не могли ни обойтись без монархии, ни умерить её, так что наконец нам надоело даже и говорить о республике и мы кончили тем, что преспокойно дали взнуздать нашего ретивого коня. Это переходный порядок вещей, скажете вы. Правда, но в нашей жизни и все ведь переходно. Потребность свободы с каждым годом делается все настоятельнее, уважение к власти становится все менее и менее прочным, общественные интересы все более и более совпадают с частными, а поэтому можно предполагать (и такое предположение еще более подкрепляется теми уступками, на которые в последнее время

решилось императорское правительство), что вскоре французский народ, если не приобретет полной автократии, то по крайней мере примет значительное участие в государственном управлении. Но кроме того, что отличительные свойства французской нации заставляют не слишком то твердо верить осуществлению подобного предположения, если бы даже ему и суждено было осуществиться, то этот счастливый исход дела пришлось бы приписать ходу событий, даже благоразумию императорской власти, но отнюдь не народной воле.

В таком случае вышло бы то же самое, что в 1848 г., когда все стали республиканцами по неволе, но никто не мог похвастаться тем, что одержал победу над монархической властью.

Я упираю на этот факт, так легко объясняемый нашими историками, которые сваливают всю вину на королей и говорят, что нация принуждена была низвергать королей, нарушавших свои обещания. Как будто значение власти и не заключается именно в возможности беспрестанно ее превышать! Какова бы ни была вина жены, но развод всегда набрасывает подозрение и на мужа; что же после этого сказать о человеке, четыре раза прибегавшем к разводу? — Все наши распри похожи на домашние ссоры, из которых монархия в конце концов всегда выходила торжествующею, в народе же, представляющем собою мужеский пол, всегда недоставало стойкости и решительности. Мы не слишком сильно стояли за конституцию девяносто первого года, которая исказилась прежде чем получила силу и поддались на республиканское правление девяносто третьего года, которого вовсе не желали. Когда после 18 брюмера Сиес попробовал снова привести нас к конституционной системе, то мы встретили аплодиссментами слова Бонапарта и нашли совершенно основательным, что ему не хочется быть откармливаемой свиньей (*un cochon à l'engrais*); так мало способны мы были понять значение новой монархии. Мы много ораторствовали во время реставрации, каждый день делали шах королю, но не принимали хартию за серьёзное и впоследствии сами хвастались тем, что разыграли комедию. С Бурбонами, между тем, было бы совсем не трудно справиться; Карл X был совсем не то, что Яков II. После 1830 г., когда в порыве увлечения г. Тьер произнес свою знаменитую фразу: «Король царствует, но не управляет» (*Le roi règne et ne gouverne pas*), то мы увидели в ней только сарказм взбунтовавшегося подданного; она послужила новым аргументом для республиканской партии. Конечно, если бы дело было только в силе плеч, то мы легко справились бы с императорским правительством; но, спрашивается, что бы мы из этого выиграли? Вопрос в том, чтобы запрячь льва, а не убить его. Мне бы не хотелось обезнадеживать друзей свободы; но они должны знать, что до тех пор, пока не изменится общественное устройство во всей Европе, французское правительство всегда будет сильно и всегда будет возвращаться к тому типу, представителями которого служат Клодвиг, Карл великий, Людовик XIV и Наполеон. Никогда народ не возьмет верха над правительством.

Недавно некоторые журналы вздумали взяться за защиту конвента и доказывать справедливость приговора, произнесенного над Людовиком XVI. Нужно сознаться, что в настоящее время вряд ли прилично прибегать к подобным манифестациям... Эта казнь лежит на нас всею тяжестью своей преступности. Не энергия и не справедливость, но трусость и злоба были причинами этой казни, что ясно обнаружилось, когда лица, подавшие голоса за смерть короля, как Сиес, Камбасерес, Фуше и Тибодо (*Thibaudeau*) поступили на службу при дворе императора; когда самозванный трибун Бенжамен Констан в 1815 г. взялся

за составление для возвратившегося с Эльбы императора Дополнительного акта, в котором сыграна такая глупая шутка с принципом конституционной, представительной и парламентарной монархии, установленной хартией 1814 г. В 1862 г., после стольких поражений, рукоплескать казни Людовика XVI, вовсе еще не значит высказывать свое республиканское рвение; это значит скорее, как и в 1804 г, приносить королевскую голову в жертву императорскому всемогуществу.

Последствием всего этого было то, что с 1789 года мы находимся в критическом положении: революция не кончена, как уверяли консулы в 1799 г.; она также и не брошена, как утверждали эмигранты в 1814 г., она просто заторможена. Поклонение королевской власти ослабилось, но и принцип, и практическое его применение остались неизменными и так как значение республики, после двух неудачных опытов, до сих пор неопределено, так как её назначение совершенно противоположно всему тому, что мы привыкли уважать и искать в монархии, то поэтому в нас не осталось ни монархической веры, ни республиканского убеждения. Мы следуем старой рутине; у нас нет политических принципов, так как в настоящее время мы не умеем жить ни под властью монарха, ни без него. Энергия наша театральна; вместо self-government'a, который в Англии кроется за монархическими формами, у нас есть только одно чиновничество, которое пользуется популярностью вследствие того, что в него открыт доступ всем гражданам. Вместо федеративной республики, или монархии, окружённой республиканскими учреждениями, у нас существует какой то демократизм, который на деле ни что иное, как другая форма деспотизма. Наконец, в довершение всего этого, наше правительство, которое в сущности, откуда бы и каким бы образом оно не явилось, есть ни что иное, как орган народной воли, принуждено из простого чувства самосохранения, действовать самовластно; народ же, считающий себя властителем, алчный до пенсий и должностей становится слугою им же избранного правительства, считая себя вполне свободным и счастливым.

Вывод: Нации, впавшей в политический индифферентизм, всего труднее иметь политическую литературу. Ей всегда грозит опасность, что писатели, в книгах и журналах обсуждающие политические, экономические и социальные вопросы, мало-помалу обратятся в таких безупречных чиновников, которые безразлично трудятся на пользу своей страны при всевозможных правительствах.

## § 8. Торговая анархия — вторая причина литературного торгашества

Деморализация, произведшая столько горьких плодов в политическом устройстве, принесла не менее вреда и в сфере идей и в сфере частных интересов.

До 1789 г. среднего сословия не признавали, а простолюдинов презирали. Мир полезных производителей, составлявший 70 % всего народонаселения и имевший полное право требовать, чтобы на него было обращено внимание отодвигался на третий план. Такой порядок вещей был для нас истинным несчастьем. Началась революция, народные массы

выступили на сцену, одержали верх и над духовенством, и над дворянством, и над королем; и земля и власть очутились в руках народа. Результат был бы великолепен, если бы революционеры умели так-же хорошо отстраивать, как разрушать. После двадцатипятилетней войны бурный поток наконец снова вошёл в берега, тогда-то пришла пора приняться за организацию нового промышленного устройства, которое заменило бы феодальный порядок, уничтоженный в 1789 г. Тогда-то одним прыжком от корпорационного и цехового устройства перешли к принципу свободной конкуренции; — приходилось на развалинах старого порядка установить новую экономическую систему. Но этот труд был слишком велик для французов, которые не умеют соразмерять своих сил, рассчитывать своих средств и разумно и твердо идти к осуществлению своей цели. Власти, которую не умели ограничить, предоставлен был полный произвол; таким же произволом хотели наделить и всех занимающихся промышленностью и торговлею. Анархия в торговом мире, которую Сисмонди понял с самого её введения, была последним словом революционной науки. Что же из этого вышло?

Один из недостатков революции заключается в том, что с 1789 г. мы отвергаем не только всякие предания, но и всякую преемственность. Это ясно обнаруживается в частых переменах правительств, которые не имеют друг с другом ничего общего, так что уроки, данные одному из них, нейдут впрок другому. Тоже самое можно сказать и о буржуазии. С 1792 г. над нею совершается метаморфоза, все в ней изменяется, и вид и направление. Место и имя прежней буржуазии переходит к новому поколению, чуждому и буржуазных стремлений и дворянских манер, опирающемуся в своих притязаниях только на завладение народным богатством и на уничтожение старого порядка. Это новое поколение завладевает общественным мнением и становится во главе движения, не замечая того, что деятельность его ограничивается воспроизведением, в новой форме, старой, брошенной системы. Новые феодалы-капиталисты хотят опираться на новые начала; старые феодалы основывали все свои притязания на требования религиозных, неземных; мы же, в настоящее время, возвратились к первобытному материализму, к грубому и ничем не прикрываемому обожанию материальных выгод.

И в этом случае мы думали идти по стопам Англии, но положение наше было совсем иного рода. Дав толчок промышленности, дав ход буржуазии, Англия сохранила однако и поземельную аристократию и духовенство; Англия сохранила свою социальную систему, свою национальную религию, свою практическую философию, которые защищали ее от политических заблуждений и от крайностей в развитии спекуляции; наконец она владела океаном и повелевала целым светом.

Наше увлечение примером Англии повлекло за собою экономический переворот столько же унижительный для нашего самолюбия, сколько и гибельный для наших финансов. Богатство и сила Франции неразрывно связаны с системою мелкого владения и мелкой промышленности, которые уравнивают друг друга и поддерживаются время от времени большими предприятиями, эта система диаметрально противоположна той английской системе, которую мы с непонятным рвением вводим у себя в течении последнего полвека. Французы не могут этого понять; им свойственно пренебрегать собственными своими средствами и увлекаться чужим примером. Впродолжении нескольких лет дело шло хорошо, но в настоящее время к какому результату пришли мы? — Нищета осаждает все классы

нашего народа. Экономическая анархия наводит уныние на все души. Упадок развития буржуазии, заражённой утилитаризмом, начался при Луи-Филиппе, в то время, когда правительство стало покровительствовать первоначальному образованию. Буржуазия отказалась от прежней доброй методы обучения и предалась изучению математики и промышленности. К чему знакомиться с Греками и Римлянами? — К чему философия, языки, юридические науки, изучение древности? Давайте нам инженеров, приказчиков и подмастерьев... Открытия, сделанные современною промышленностью, окончательно ослепили эту касту торгашей; то, чему следовало бы вести к облагорожению умов, принесло новое торжество обскурантизму. На науку народного богатства стали смотреть с антиэстетической точки зрения. Политическая экономия, сказал г. Тьер, — скучная материя. Таким-то образом понятая политическая экономия и породила понятие об интеллектуальной собственности и о продажной литературе.

Лучшим мерилom взглядов современной буржуазии на литературное и художественное дело может служить отношение её к журналистике. Попробуйте упрекнуть редактора какогонибудь журнала за то, что он подличает перед властью, лицемерит, льстит, молчит, когда следует говорить, и он прехладнокровно ответит вам: «Я не свободен в своих действиях, если я стану поступать по вашему совету, то получу предостережение». — Что за беда, — ну и получайте предостережение. — «Но журнал мой подвергнется срочному запрещению». — Перенесите это срочное запрещение. — «Но вслед за тем журнал мой и вовсе запретят». — Пусть запрещают. — «А капитал, затраченный на журнал, ведь я безвозвратно его потеряю». — Жертвуйте своим капиталом, но не торгуйте истиною... Подобные слова смутят почтенного публициста и он повернет вам спину. — Очевидно, тем не менее, что этот человек, о котором общество думает, что он на жаловании у правительства, в сущности не вступал ни в какие сделки с властью. Да и кто станет подкупать подобного журналиста, правительству нет в этом ни малейшей надобности. Человек этот действительно находится в крепостной зависимости, но не от администрации, а от своего собственного капитала, и такое рабство может служить для правительства лучшим ручательством за верноподданнические чувства журналиста.

Таким образом, нам не удалось произвести ни экономической революции, ни политической реформы, и эта двойная неудача принесла нам много вреда.

Мы не умели справиться с своими королями, и испытав неудачу, мы потеряли сознание не только своего человеческого назначения, но и своей национальности. Мы перестали быть галлами, перестали быть сынами отечества. Между нами есть конституционалисты, республиканцы, империалисты, католики и вольтерьянцы, консерваторы и радикалы; — но все это одни только пустые вывески. Политических и социальных убеждений у нас не существует и национальность наша, сохранившаяся в одной лишь официальной сфере, стертая наплывом иностранцев и искусственностью, вошедшею в наши нравы, обратилась в миф. Какую партию выполняем мы в общеевропейском концерте? Невозможно определить. Мир идет вперед без нас, принимая только меры предосторожности против наших 500,000 штыков. 74 года прошло с тех пор как среднее сословие, устами Сиеса скромно просившее, чтобы ему дозволили чтонибудь значить, стало господствующим сословием. Получив такое огромное значение, среднее сословие не знает уже чего ему более желать и потому отказывается от своего назначения!..

Говорить ли о философии? — Достаточно будет ограничиться одним простым сближением.

В XVI веке Германия пришла к такому выводу: «папство развратилось, новый Вавилон — Рим, — изменил Христу, разрушил его царство; но я остаюсь верною Христу и спасу религию...» И Германия, отделившись от римской церкви, произвела реформацию. Набожность воскресла на земле, влияние протестантизма проникло в самое сердце католической церкви, которая, преследуя ересь, принуждена была, однако, подчиниться общему движению. Из этой непоследовательной, но великодушной реформации, триста лет спустя, вытекла широкая германская философия, которая и до сих пор развивает и возвышает душу всякого немца, подчиняя его одним только юридическим условиям свободы. Дело Лютера, конечно, было легче дела Мирабо; но Лютер был понят и оценен своими согражданами; германское племя, подобно англо-саксонскому, достигло своей цели; мы же бросили и прокляли Мирабо и до сих пор еще не знаем, чего именно добивался этот великий трибун и чего хотели наши предки. В настоящее время Германия работает над составлением федеративно-республиканской конституции и таким образом, по своему, продолжает дело, начатое Францией в 1789 г. Германская нация идет вперед тихим, но твердым шагом. Её мысль, иногда и туманная, есть соль земли; пока не прекратится философская деятельность между Рейном и Вислой, антиреволюционное движение не может восторжествовать.

И к нам в XVI веке дважды являлась реформация, но мы дважды отвергли ее и в лице Кальвина, и в лице Янсена. В XVIII веке мы вздумали вознаградить себя и забрать в свои руки философию. Французская философия, по словам Гегеля, была старшею сестрою немецкой. Одна поставила основные положения, другая вывела из них заключения. Начатая такими людьми, как Фрере, Монтескье, Вольтер, Кондильяк, Дидро, д'Аламбер, Бюффон, Кондорсе, Вольней, французская философия могла по справедливости назваться и философией природы, и философией права, основанной на здравом смысле. Таково было начало того движения, которое окончилось революциею 1789 года. Но философия наша сохранила характер индивидуальности; масса ее не усвоила. По всем отраслям знания Франция произвела величайших гениев, но эти гении постоянно находились в положении отшельников. Мы редко знакомимся с ними и то из пустого любопытства. Мысли этих гениев уподоблялись евангельскому семени, которым питаются птицы, но которому мы, с своей стороны, предоставляем сохнуть на каменистой почве. Выводы науки не принесли нам пользы; принявшись за размышление, мы слишком многое принимали на веру, веры в нас было слишком много, а в добродетели ощущался недостаток. При первых проблесках света мы пали ниц, как апостол Павел на пути к Дамаску, но уже не поднялись с земли. Из всех произведений наших мыслителей в нашей памяти остались только их шутки и их богохульства. После оргий 93 года и времени директории большинство возвратилось к старой религии; Бонапарт открыл церкви и дело было решено. Наиболее храбрые вдались или в мистицизм, или в вольнодумство, большинство же впало в совершенный индифферентизм. — Эклектизм, метафизический винегрет и философская всякая всячина — таковы продукты этого индифферентизма. Спросите у нас чего хотите: спиритуализма, материализма, деизма, экоссизма, кантизма, платонизма, спинозизма. Вы хотите, быть может, согласовать религию с разумом? — Говорите, требуйте, мы можем удовлетворить всякому вкусу и отпустить товар в какой угодно мере... Мы похожи на спутников Улисса, обращённых феею в свиней, которые сохранили человеческие качества именно на столько, чтобы обращать человека в посмешище. Наша совесть похожа на тот гриб, который

высыхая, осенью, распространяет зловоние, почему простонародные остряки дают ему такое название, которое неудобно повторять в печати. Мы оскверняем все то, что прежде уважали; мы торгуем и правом, и долгом, и свободой, и общественным порядком, и истиною, и фантазиею, пускаем все это в оборот, как заемные письма или акции железных дорог. Нам нет никакого дела ни до нравственности, ни до истинной стоимости вещей, ни до постоянства и верности своим убеждениям, мы пользуемся всяким случаем, всякою переменою для своих спекуляций.

## § 9. Упадок литературы, вследствие её продажности. — Предвидимое изменение

«В литературе выражается характер общества», это избитое изречение грустным образом подтвердилось в настоящее время. Чем же должна быть литература при тех политических, экономических и философских условиях, о которых я только что говорил?

Французская литература, служившая лучшим представителем XVII и XVIII веков, после падения директории перестала идти в уровень с веком. И в самом деле, могла ли Франция 1804 года, понимать таких людей, как Боссюэт, Вольтер, или Мирабо?... Уровень общественного развития сильно и быстро упал. Лучшим писателем в то время считался Фонтан{14\*} (Fontanes), а между тем, кто же читает Фонтана? — Наполеон восхищался Оссианом, но кто же в настоящее время станет читать Оссиана? — Что же оставила нам императорская литература?

Во время реставрации было два направления в литературе: одно положительное, историческое, другое — романтическое. Первое не успело достигнуть совершенства в своем развитии; второе было похоже на песню евнуха. Серьёзным произведениям нашего века суждено еще прожить некоторое время, вследствие тех материалов, которые в них заключаются, романтизм же окончательно прекратил свое существование. Шатобриан забыт, а кто бы в 1814 г. мог поверить, что такого великого человека забудут? — Много еще других писателей испытают ту же участь, многие будут в скором времени забыты потому, что память об них и теперь поддерживается только стараниями партий, да рекламами.

С 1830 г. Франция, вся углубившись в промышленные соображения, совершенно покончила с литературным преданием; с тех пор упадок в литературе шёл все быстрее и быстрее. Французская литература, изменив своему национальному духу, пристращается ко всему иностранному, вдается в подражания, коверкает и искажает французский язык. Бедность в идеях заставляет вдаваться в ложь и преувеличение, заставляет прибегать к литературным заплаткам, применять изящные формы, созданные гениями к пошлым и гнусным вещам, писать по готовым образцам подобно тому, как школьники пишут латинские стихи с помощью Gradus ad Parnassum. И это называется литературою! Для того, чтобы придать своим произведениям вид самостоятельности и глубины, — переделывают правила

искусства, унижают классиков, которых не в состоянии понять, пишут мудреные буримы, возвращаются к языку трубадуров, во имя природы воспроизводят уродство, восхваляют порок и преступление, угощают публику допотопными описаниями, декламациями и разговорами; а библиографический бюллетень дает публике отчет о всех подобных приобретениях. И это называется литературой!

Правда ли, что для большинства писателей, литература — ремесло, доходная статья, если не единственное средство пропитания? — В таком случае никакого различия нельзя и ожидать; раз, что писатель, бросив молоток, берется за перо и делается ремесленником, он должен до конца быть верным своему назначению. Он должен понять, что служить истине, ради её самой, печатать только истину, — значит восстанавлять против себя весь свет; что личный интерес велит писателю стать на сторону той или другой из властей, служить известному кружку, партии, или правительству; что прежде всего нужно научиться не затрагивать предрассудков, личных интересов и самолюбия людей. Вследствие подобного взгляда на свое назначение писатель будет следить за всеми колебаниями общественного мнения, сообразоваться со всеми видоизменениями моды; он будет заботиться об том, чтобы удовлетворить вкусу, настроению общества в данную минуту, будет курить фимиам современным кумирам и извлекать свою выгоду из всякой гнусности. {15}

Таким-то образом литература наша упала очень низко. Забыв, что главным, руководящим принципом её должно быть самопожертвование и погнавшись за барышами, она менее чем в полвека из литературы искусственной, обратилась сначала в литературу скандальную, а потом и в рабскую. Много ли у нас людей, думающих, что назначение литературы заключается в защите права, нравственности, свободы; что вне подобного назначения немислима деятельность гения? Была ли литература когда нибудь так пуста, как в настоящее время, не смотря на все обилие поучительных событий? — В то время, когда ей следовало бы идти за веком и развиваться, она пятится назад. Преклоняясь перед золотым тельцом, или трепеща перед грозною властью, литератор заботится только об том, чтобы извлечь наиболее процентов из своего литературного капитала и для этой цели он или вступает в сделки с властями, которым подчинен, или добровольно себя обезображивает. Он забывает, что подобные средства ведут к искривлению души и убивают гения, что литератор таким образом становится простым наемником и что в подобном случае все равно, кто бы ему не платил — издатель или полиция.

Но возражают мои противники, именно для того-то чтобы возвысить положение писателя, чтобы сделать его лицом почтенным и независимым, мы и требуем установления литературной собственности... Ложь! Доказано, что установление подобной собственности, противной принципам политической экономии, гражданского и государственного права, ведет к смешению понятий о вещах продажных и непродажных, а следовательно и к развращению литературы. При том же требуется определить, в чью пользу хотят установить литературную собственность: в пользу самих литераторов, или их наследников? — Когда писатель начинает свою деятельность, то у него еще ничего нет; ему приходится самому (без посторонней помощи) строить свое гнездо. Часто ему в своих произведениях приходится идти в разрез с общественным мнением и в таком случае он должен ожидать, что будет оценен лишь после смерти. Следовательно, защитники литературной собственности имеют в виду наследников писателя; следовательно, они хлопочут об

установлении особого рода майоратов, хотят положить основание новой интеллектуальной аристократии, и, под покровом права собственности, хотят ввести организованную систему развращения и порабощения.

Рассказывают, что при разрушении Коринфа консул Муммий сказал подрядчику, который взялся за перевозку статуй: «Если ты разобьешь их, то должен будешь поставить новые!» За 145 лет до Р. Х. Римляне не умели еще делать различия между искусством и ремеслом; мы, в настоящее время, возвратились к тому, что смешиваем их. В самом деле не так ли поступаем мы вводя цеховое устройство, в феодальном его смысле, в область литературы и искусства? — Сколько есть (даже и между литераторами) людей, воображающих, что гению отнюдь не мешает получать богатое вознаграждение, и что гениальное произведение может всегда быть изготовлено по заказу, как дом, или экипаж. Посредственность рада утешать себя мыслью, что искусство падает вследствие недостатка поощрения для артистов.

Услышав, что упрекают его за то, что он не поощряет художников, лорд Пальмерстон, говорят воскликнул: «Разве мы уже перестали быть англичанами?» — Он хотел этим выразить, что поощрять искусства дело не государства, а общества. Такого же мнения и наши дилетанты. Мы думаем, что нация пользуется славой, если в состоянии купить ее; что если на перестройку Парижа употребить двенадцать миллиардов, то он будет чудом в архитектурном отношении; что литература будет процветать тогда, когда литераторы будут получать ренты.

Из упорного уподобления изящных произведений — полезным можно, впрочем, вывести мысль, которой и не подозревают защитники литературной собственности. Низведение искусства на степень промышленности нельзя ли объяснить тем, что сама промышленность поднимается на степень искусства? — Взгляните на выставки: по словам рецензентов, произведения искусства, появляющиеся на выставках, с каждым годом становятся все плоше и плоше; за то, произведения промышленности являются все более и более великолепными. Разве не принадлежат к области искусства произведения севрской или гобелинской мануфактуры? Разве искусство не проявляется во всех этих машинах, во всех этих богатых материях, во всех этих роскошно-иллюстрированных изданиях? — Разве все эти чисто утилитарные изобретения, — электрический телеграф, фотография, гальванопластика, паровая машина, машины швейные, типографские и друг. не могут стать на ряду с знаменитейшими произведениями наших художников, скульпторов и поэтов? — Разве идеал не проявляется в произведениях парижских и лионских мануфактур столько же, сколько и в произведениях наших романистов и драматургов? — Разве наконец дар слова не развился до огромных размеров у наших адвокатов, профессоров, журналистов и у множества других людей, для которых литература и красноречие вовсе не составляют ремесла? Дай-то Бог, чтобы и дар мышления получил бы такое же широкое распространение как дар красноречия! Мы ищем идеала в красноречивой речи и в красноречивом письме, которые, по нашему мнению, служат лучшими выражениями здравого, ясного мышления и чистой совести, а, сами того не замечая, уже достигли этого идеала. Мы красноречивы, как Пиндар, или как сам Феб; благодаря громадному количеству романов и периодических изданий, ежедневных, еженедельных и ежемесячных, доступных для всяких интеллигенций и для всяких карманов, изящество французской речи и сущность древней и новейшей

литературы стали достоянием всех сословий, так что никто уже не может гордиться исключительным знакомством с этими вещами. Можно ли после того удивляться, что литература и искусство уподобляются промышленности, когда всякий ремесленник может считать себя художником, когда рабочий имеет свою поэзию, а деловой человек свое красноречие? —

Итак мы живем в эпоху полной метаморфозы. Впродолжении долгого времени нам не суждено иметь ни истинной литературы, ни истинного искусства. Будут у нас должностные лица, как светские так и духовные, получающие от 1,200 до 100,000 фр. жалованья, будут наемные писаки, научившиеся правильно писать по-французски и классическим слогом трактовать по заказу о каких угодно предметах, будут у нас рисовальщики, способные подбирать краски, и ваятели, умеющие пользоваться идеями великих художников. Подобное положение конечно грустно, гнусно и глупо; но утешимся! Мало-помалу публика узнает истинную цену этой контрафакционной литературы, этого флибустьерского искусства; подделка будет преследоваться, уничтожаться и после одного или двух веков бездействия настанет наконец время возрождения.

Я от души желаю наступления этого времени. Мне самому надоела эта болтовня, это бумагомарание, это малярство. Но чтобы выйти из этого положения нужно соблюдать те законы промышленности, которые установлены революцией. Пускай авторам, изобретателям, усовершенствователям чем угодно обеспечивают способ получения вознаграждения, но пусть не вводят никаких привилегий, никаких бессрочных монополий. Везде и во всем да соблюдается принцип свободной конкуренции!

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

## Социальные последствия

### § 1. Каким образом начинаются и отчего не удаются революции

Если проект закона о литературной собственности будет принят, то не останется и признака учреждений и идей 1789 г. Дух Франции совершенно изменится; чтобы окончательно уничтожить последние следы революции, стоит только дать новому закону войти в силу и внести его в свод законов.

Народ только до тех пор держится своих учреждений и законов, пока они соответствуют идеалу, им самим выработанному; как скоро этот идеал будет потрясен, общество тотчас преобразовывается. Таким образом революция 1789 г. была отречением от религиозного, политического и социального идеала, освящённого литературой XVII-го века. Точно таким же образом, реакция, начавшаяся во время консульства, усилившаяся после 1848 г., есть ни что иное, как возвращение к этому старому идеалу, конечно с некоторыми ограничениями, которых требует дух нашего времени.

Благодаря сочинениям Боссюэта, Фенелона, Флери, Арно, Паскаля, Бурдалу и дона Каломе, Христианство приобрело такой рационализм и такой блеск, каких оно никогда не имело, даже во времена св. Августина. Философия, математические и естественные науки, поэзия и красноречие, способствовали этому преображению Христианства. С тех пор явилась возможность с гордостью проповедовать Евангелие: всякий верующий мог положительно сказать, что за него стоят и божественный и человеческий разум. Христианство стало больше чем вера, — оно сделалось целой системой мира, человека и Бога.

Славу религии разделила и монархия. Прозаики и поэты соединили свои усилия для обоготворения и восхваления монархии, которой теория народного самодержавия, введенная протестантами, придала еще более значения, проповедуя, что монархическая власть опирается и на предание и на логику.

В семнадцатом веке еще не понимали, что принципы общественного управления следует выводить из науки права; все единодушно признавали принципы власти, освящённой церковью, исходящей от Бога и воплощённой, по мнению одних, в лице короля, по мнению других — в лице народа. Но раз, что говорят о божественном происхождении власти, то совершенно бессмысленно вложить власть эту в руки народа, делать подданного королем, и называть правителем того, назначение которого — быть управляемым.

Не смотря на все бедствия, которые пришлось ей потерпеть, социальная иерархия наконец удостоилась освящения. Мольер, Буало и Ла-Брюэр хотя и насмехались над маркизами, но тем не менее питали глубокое уважение к самому принципу дворянства, в котором видели одно из необходимых условий существования общества и которое считали проявлением личного достоинства. Так как и до сих пор есть еще люди, которые утверждают, что равенство имуществ и состояний — химера, то дворянство имеет полное право на существование, а Фенелон в своем Телемаке и Сен-Симон в своих Мемуарах отстаивающие кастовое различие сословий и требующие расширения власти и значения дворянства — совершенно правы. По мнению этих великих публицистов Ришелье совершил тяжкое преступление, унизив значение дворянства; необходимейшею же реформой, которой ждали и по смерти Людовика XIV, точно также как прежде ждали во время его несовершеннолетия было — восстановление феодализма. Что касается до буржуазии, то, составленная из корпораций и цехов, она, вместе с парламентом была твердою опорой старого порядка.

Литература, служащая прототипом общества, способствовала сохранению существующего порядка, идеализируя его. Подобная идеализация прикрывала страшнейшие злоупотребления, гнуснейшие пороки, только с помощью этой идеализации Франция могла просуществовать до 1789 г. Слава великого века, затмившаяся во время двенадцатилетнего революционного волнения, вновь ожила в наше время и мы восторгаемся эпохой Людовика XIV, больше чем самые его современники.

Каким же образом Франция могла отторгнуться от такого могучего идеала; каким же образом могла существовать революция?

Мы знаем, что XVII век — век консерватизма и веры имел более склонности к искусствам, чем к рассуждениям. Разум употреблялся в дело только для того, чтобы поддерживать и украшать существующий порядок; поэзия и искусство, благодаря тридцатилетнему процветанию, сделались главным элементом XVII века. XVIII век держался совершенно противоположного направления; побуждаемый к тому и наукою, и плохим положением дел, он стал сравнивать действительность с идеалом, больше размышлял, чем восторгался, стал анализировать существующий порядок и этот анализ привел его к отрицанию.

В самом деле, и в церкви, и в власти, и в дворянстве, и в духовенстве, везде действительность была отвратительна и даже те, которые меньше всего были предубеждены против существующего порядка, должны были отвергнуть всякую возможность излечения и, следовательно, должны были видеть всю неудовлетворительность идеала.

Одним словом, революция была протестом положительного разума против внушений воображения и веры и все последующие события были последствием этого протеста. Идеал монархии, феодализма и теологии был ложен, т. е. я хочу сказать, что действительность, на которой он основывался, была нерациональна и безнравственна и что рано или поздно, критика должна была уничтожить его привлекательность. Анализ XVIII века был безупречен и революция была его законным последствием.

Теперь французы отрекаются от этой революции; найти причину подобного факта конечно совсем не трудно. Нужно ли объяснять читателю, что в прочтенных им строках нет ни прямого, ни косвенного обвинения правительства; я пишу не политическую сатиру, а просто психологию общества. Тут нет никакого доноса о тайном заговоре; я изображаю только естественный ход мнений и последовательную смену идей и фактов, окончательные результаты которых я тотчас же выведу; все то, о чём я говорю не зависит от правительственных распоряжений и за приводимые мною события никто не подлежит никакой ответственности.

Я уже сказал выше (ч. II §§ 6, 7, 8), что причина того упадка, свидетелями которого нам пришлось быть, кроется не в принципах революции (принципы эти — справедливость и наука), — не в тех заключениях, которые мы старались из них вывести, потому что эти заключения состоят в развитии права и свободы; причин этих нужно искать в неразвитости народа, который не был достаточно подготовлен для такого великого дела. Мы не разрешили ни одной из великих задач 1789 г., а уже изнемогаем от усталости и деморализации. Ни своими учреждениями, ни своими искусствами мы не сумели идеализировать революции, нами предпринятой; напротив того, так как из событий, сопровождавших революцию, мы сохранили воспоминания только об её ужасах, то неминуемо должны были возвратиться к идеалу XVII века, к которому влекла нас блестящая литература, на некоторое время стушевавшаяся пред философией. Со времени Робеспьера Франция снова почувствовала стремление к Богу и королю; Наполеон осуществил оба эти желания, наделил Францию победами, дворянством и орденами. С этой точки зрения, Наполеона можно назвать гением-восстановителем, верным представителем своего времени.

Но реставрация, энергически начатая первым консулом, слабо продолжавшаяся при Бурбонах и Луи-Филиппе, есть ни что иное как набросанный эскиз; мы же — народ логический, народ который любит идти по раз найденному следу до того места, куда он может нас довести. Что-же в этом случае говорит нам здравый смысл? Что критический ум всегда свободен и что нужно суметь овладеть им.

Пусть сколько угодно подавляют, угрожают, предупреждают, наказывают: законы о печати имеют весьма мало значения, цензура-же ровно никакого; судебные приговоры только разжигают огонь. С другой стороны очевидно, что не смотря на все желание, мы не можем возвратиться к порядку вещей существовавшему при Людовике XIV. Для этого пришлось бы принципы 1789 г., серьёзные верования XVII века и дух пытливости XVIII-го века заменить фантастическими нравами, которые, удовлетворяя нашей гордости и чувственности, давали бы нам возможность не признавать никакой философии, не уважать никаких учреждений и презрительно относиться ко всяким принципам; уничтожить в нации всякую возможность рассуждать, забинтовать её мозг; словом, уничтожить всякую критику и поставить мышление в зависимость от государства.

Первая часть этой программы почти уже выполнена, нужно только дождаться выполнения второй. Дух анализа, которым Франция отличалась в XVIII веке, уступил место культу чистого искусства, искусства безусловного, понимаемого не как изображение действительности, а как нечто фантастическое, не влекущее ни к каким социальным

последствиям. Мы уже не рыцари идей, мы обожатели идеала. Право, нравственность, исторические и политические законы имеют для нас лишь на столько значения, на сколько они служат этому идеалу, который сделался единственным объектом нашей веры, нашей любви. Поклонение идеалу — такова религия всех наших писателей, какой бы специальностью они не занимались, будь то критика, философия, история, романы или поэзия. Сама революция сделалась чем-то фантастическим. Подобно всем испорченным и развращённым обществам, французское общество, не веря более ни во что и в себя меньше чем во все остальное, обратилось просто на просто к дилетантизму; самая прозаическая из всех наций вздумала считать себя нацией исключительно артистической и с тех пор ни принципы, ни справедливость ее уже более не воодушевляют. Время идей прошло; в глазах французской публики — писатель, который рассуждает, доказывает, выводит заключения — человек отсталый. Даже и промышленное наше рвение, которым мы до такой степени гордились, ослабевает; мы сознаемся, на что наши предки никогда бы не согласились, что немцы и англичане превосходят нас в производстве необходимых и дешёвых вещей: но за то никто не может с нами сравниться в производстве предметов роскоши. Таким образом англичане, которые в 1788 г. стояли далеко ниже нас в торговом отношении, в настоящее время, получают от внешней торговли около восьми миллиардов, тогда как мы едва получаем и половину, а если будем и впредь идти по тому же идеалистическому пути, то, благодаря свободному обмену, другие завладеют вскоре и собственным нашим рынком. Кто же виноват во всем этом? — Страна или правительство? — Ни та, ни другое. Это просто факт общественной психологии, такой же факт как и то, что в 93 году преобладала чувствительность, в 1814 г. — законность, в 1825 — набожность, в 1832 — романтизм. Можно проследить ход развития подобных фактов; но нельзя не признать их фактами самобытными.

Теперь остается только выполнить вторую часть программы, т. е. добиться уничтожения способности рассуждать, к чему общество уже хорошо подготовлено этим изнеживающим дилетантизмом. Очевидно, что как только в нации окончательно заглохнет дух критики, то революция будет окончательно побеждена; Франция, считающая себя артистической страной, воображающая, что она с своим идеалом господствует над всем миром, придет в совершенный упадок; Париж, который называли мозгом всего земного шара, превратится в столицу модисток. Вот к чему приведет установление интеллектуальной собственности.

## § 2. Смысл закона о литературной собственности

В древнем Египте, кроме отправления богослужения, духовенство имело еще исключительное право заниматься науками, литературой и искусствами. Однообразие египетской архитектуры и скульптуры было следствием этой привилегии. Впродолжении 15-ти, 20-ти веков типы в искусстве нисколько не изменялись. Тот же характер неподвижности виден и в памятниках Персии и Ассирии и служит явным признаком монополии в области мануфактуры и искусства. Понятно, что при таких порядках древние общества жили, так сказать, вне времени. Для них век был все равно, что день: какая завидная участь!

Писатели, которые восторгаются продолжительностью существования этих первых монархий, должны были бы по крайней мере показать своим читателям, чем обуславливалась эта продолжительность. Многие эмигрировали бы из государства, если бы видели перед собою сорокалетнюю смерть; голод, холера, гражданская война и инквизиция, все вместе, не так страшны, как эта неподвижность.

Защитники интеллектуальной собственности не сознают, что введение её поведет к уменьшению числа изобретений и вследствие монополизации идей и уничтожения конкуренции, остановит ход прогресса. Подобное непонимание служит лучшим доказательством их невинности, но не делает чести их прозорливости.

Я кажется уже доказал, что все произведения, принадлежащие к области науки и права, по самой природе своей непродажны; что труд артистов и учёных подлежит тому же самому закону и что независимо от соображений политико-экономических, которые заставляют их довольствоваться простым гонораром, самое достоинство их профессии запрещает им требовать большего.

Итак одно из двух: или новый закон не имеет смысла, или он доказывает, что профессии, очень удачно названные свободными, — на самом деле ничто иное, как только особый вид холопской промышленности; что главная цель этих профессий, как и всех других — богатство; что занимающиеся этими профессиями имеют право извлекать из своих сочинений какую им угодно выгоду, обуславливая их распространение чем им угодно; что одним из этих условий может быть вечная привилегия на продажу экземпляров своего сочинения; что защищать непродаваемость творений ума, значит приписывать художникам и писателям такой характер, который им не принадлежит, значит делать их настоящими провозвестниками истины, добра и справедливости, тогда как они совсем не провозвестники, а разве разносчики; что в настоящее время нельзя уже, как делалось это в старину, называть поэта служителем и другом богов, так как он в настоящее время только продавец духовных песен и амулетов; что наконец, если законодатель учредит в области ума такую же собственность какая установлена в пользу землевладельцев, то будет весьма справедливо с его стороны даровать писателю монополию на неограниченное число лет.

Следовательно, из формы и содержания закона видно, что произведения философии, науки, литературы, искусства — могут быть продаваемы. Рассмотрев это, пойдем дальше.

Мы сказали, что заменяя договор купли, продажи — пожизненную ренту, правительство поступает совершенно произвольно и вопреки всем принципам права и политической экономии, заботясь лишь о том, чтобы удовлетворить корыстолюбивую писателя и установить в пользу его ту монополию, которой он добивается. Итак, издавая подобный закон, законодатель мало того, что оценивает сверх заслуги труд автора, но и пренебрегает общественными выгодами, причиняет ущерб целому обществу.

Мы знаем каким характером отличаются все человеческие произведения, как в области философии, литературы и искусства, так и в области мануфактуры. Производительность эта состоит не в сотворении (в метафизическом смысле этого слова) идеи или тел, но в придании известной формы материи и идеям, формы чисто индивидуальной и

скоропреходящей. За подобное придание формы, а иногда еще и за первенство открытия вы даруете писателю право, которое обнимает и самую идею, т. е. то, что безлично, неподвижно, обще всем людям. Я уверен, что эта идея, сегодня впервые открытая и выраженная, которую вы так великодушно обращаете в собственность нашедшего ее писателя, завтра могла бы быть открыта другим, а через десять лет и несколькими вдруг. Несомненно, что когда настала пора появления какой либо идеи, то она является одновременно в нескольких местах, так что первенство открытия ничего не значит в сравнении с неизмеримостью движения общечеловеческой мысли. Дифференциальное исчисление почти в одно и то же время было открыто Лейбницем, Ньютоном и Ферма и по некоторым указаниям первого было отгадано Вернульи. Взгляните на поле: можете ли вы сказать, который колос раньше всех вышел из земли и есть ли возможность предположить, что все колосья вышли из земли благодаря инициативе первого. Почти таково же и положение тех творцов (как их называют), которых хотят обратить в каких то благодетелей человеческого рода. Они увидели, выразили то, что уже было в мысли общества; они сформулировали закон природы, который рано или поздно неминуемо должен быть сформулирован, так как явление известно; они придали более или менее красивый вид предмету, уже задолго до них идеализированному в воображении народа. Что касается до литературы и искусства, то в этих сферах все усилия гения должны быть направлены на то, чтобы выразить идеал массы. Творчество (даже в этом тесном смысле), в особенности если оно вполне удачно, без всякого сомнения, уже достойно благодарности; но зачем лишать человечество его достояния, зачем обращать науку и литературу в какие то ловушки для рассудка и свободы?

Интеллектуальная собственность сверх того, что изъявляет притязание на общественное достояние, отнимает еще у общества и ту законную часть, которая принадлежит ему, в произведении всякой идеи и всякой формы.

Общество составляет группу; оно живет двоякою, реальною жизнью; как нечто собирательное и как множество индивидуумов. Деятельность его в одно и тоже время и коллективная, и индивидуальная деятельность, мысль его также и коллективна, и индивидуальна. Все, что происходит в этой группе, носит на себе такой характер двойственности. Конечно факт существования коллективности еще не может служить достаточною причиною для того, чтобы обратиться к теории коммунизма и на оборот факт индивидуальности не дает нам права не признавать общих прав и интересов. В этом то распределении и равновесии коллективных и индивидуальных сил, т. е. в справедливости, и заключается сущность науки управления.

В новом законе о литературной собственности интересы индивидуума вполне гарантированы; но что же достанется на долю общества? — Конечно общество должно вознаградить автора за его труд и даже, если хотите, за его инициативу, но вместе с тем общество имеет и свою долю в этом произведении, оно должно участвовать в собирании плодов. Эту законную долю общество получает посредством договора мены, благодаря которому вознаграждение соразмеряется с услугой. Интеллектуальная же собственность напротив того ничего не оставляет на долю общества, но все отдает автору. Итак, в спроектированном законе мы видим во первых: признание продажными вещей, по самой природе своей не продажных, и во вторых: нарушение прав общества. Перейдем к

приложению закона.

## § 3. Присвоение интеллектуальной собственности

Неизбежным, страшным последствием нового закона, несмотря ни на все уступки, которые мог бы сделать законодатель, ни на протесты тех, которые требуют введения литературной монополии, будет то, что не только самое произведение, но и общая всем, безличная, неотчуждаемая идея — превратится в собственность. В этом случае содержание нераздельно от формы; одно неизбежно следует участи другого. В результате окажется, что кроме монополизированной книги нельзя будет ни читать, ни писать никакой другой, нельзя будет иметь никакой другой мысли, кроме мысли писателя-собственника.

Возьмем для примера Арифметику Безу и для удобства предположим, что Безу первый изобрел письменную нумерацию, четыре правила, пропорции, логарифмы и т. д. Безу издает свою Арифметику и закон дарует ему право вечной продажи этого сочинения.

Следовательно, все другие арифметики будут запрещены, так как очевидно, что здесь содержание преобладает над формой; что от разности редакции сущность нисколько не изменяется; что арифметические действия всегда одни и те же; что таблицы логарифмов всегда одинаковы; что арифметические знаки, язык, определения — не изменяются. Таким образом для всей Франции, для всей Европы будет существовать только один учебник Безу и все те, которые захотят выучиться считать должны будут учиться по этому учебнику.

Все вышесказанное может относиться и к учебникам геометрии, алгебры, физики и проч. Следовательно, всякая конкуренция, для этих изделий, все достоинство которых заключается в идее, будет уничтожена; (под конкуренцией в этом случае я подразумеваю возможность воспроизвести идею изобретателя в других выражениях). Одним словом, так как содержание преобладает над формой, то и будет существовать одна только книга, по весьма простой причине, что идея одна и та же: *Una idea, unus auctor, unus liber.*

Возьмем другой пример; мы только что видели как содержание преобладает над формой, теперь же увидим как форма берет верх над содержанием.

В силу одного закона 1791-го года, подтвержденного в последнее время, молитвенники сделались епископальной собственностью. В каждой епархии они продаются в пользу епархиального духовенства, во всяком случае никто не может их продавать без разрешения духовенства. Следствием этого присвоения было то, что все молитвенники стали похожи один на другой, так что верующий может молиться Богу только по известной форме и в выражениях, предписанных высшим духовенством. «Церковные часы», «Ангелы путеводители» и все тому подобные книги духовного содержания могут продаваться только с разрешения Епископа. Здесь, говорю я, форма преобладает над содержанием, и в самом деле, какая сущность этих книг? Это стремление души к Богу, на которого она смотрит, как на отца, творца, искупителя, олицетворение справедливости и наконец, как на мстителя, наказующего за грехи. Основываясь на таких общих, неопределенных данных, понятно, что

можно разнообразить выражения до бесконечности и писать книги на столько отличные одна от другой на сколько Батрахомиомахия отличается от Иллиады. Но церковь предупредила подобную деятельность, она составила формулы для молитв, сочинила утренние и вечерние молитвы с сохранением за собою права перевода и истолкования. Следовательно, действительно здесь форма преобладает над содержанием, так как по закону никто не может учить детей молиться Богу и распространять формулы славословия, неодобренные духовенством. Нетрудно было бы причислить к той или другой категории, т. е. к научным книгам, в которых содержание преобладает над формой, или к религиозным, в которых форма преобладает над содержанием, все произведения литературы и искусства и присваивать себе то форму в ущерб идее, то идею в ущерб форме.

Раз что какое нибудь сочинение философского, или политико-экономического, или юридического содержания, заключающее новые, оригинальные идеи будет признано классическим, то оно исключит все прочие, подобные ему сочинения, сущность которых будет та же, с изменением лишь выражений. Всякий знает, что преступление против литературной собственности не заключается только в заимствовании чужих фраз, имени, но и в присвоении чужого учения, чужого метода, чужой идеи и этот род воровства принадлежит к самым низким. Существуют разные «философии» — Декарта, Малекбранша, Спинозы, Канта и т. д.; есть две книги, носящие заглавие: «Доказательство существования Бога», — одна Кларка, другая Фенелона; есть «Нравственность» Зенона и другая «Нравственность» Эпикура и т. д. Выдача автору бессрочной привилегии на издание и изменение своего сочинения принесет большой ущерб книгопродавцам, уничтожив всех подражателей, контрафакторов, копиистов, комментаторов и т. д.

Заметьте, что это будет совершенно логично и даже, с некоторой точки зрения, полезно и нравственно. Всякая посредственность не посмеет уже больше писать; вороны в павлиньих перьях будут изгнаны; болтовня прекратится. Конечно подобным полицейским мерам я предпочту суд общественного мнения (хотя оно иногда и заблуждается, а иногда долго не высказывается); но в сущности требования собственников будут все таки совершенно основательны и рано или поздно правительство, найдя и в этом свою выгоду окажет им справедливость.

То же самое можно сказать и о творениях искусства, сущность которых также заключается не в выборе предметов, но в форме, сообщённой идеалу.

Например про драматического артиста говорят, что он создал роль и в самом деле истинный артист только по этому творчеству и узнается. Следовательно, зачем же позволять другому артисту, искусному в подражании, но неспособному к созданию ролей, завладеть собственностью своего товарища и играть не обдумывая те же роли, благодаря только стараниям другого. Всех подражателей нельзя назвать артистами, их можно терпеть только до тех пор, пока они не искажают оригинала. Что же из этого следует? Для того, чтобы гарантировать драматическому артисту ненарушимость его права, которое также священно, как и право автора, нужно запретить всякому подражать ему, что неисполнимо; или запретить всем другим представление той же пьесы, что уже совершенно нелепо.

Все вышесказанное может относиться и к живописи, и к скульптуре, и к поэзии, и к роману. Поэтическая идея точно также может быть украдена, как воруются алгебраическая идея или какое нибудь изобретение; в мире искусств есть столько же людей, живущих этим родом воровства, сколько и в мире промышленности и мануфактуры. Если только будет принят закон о художественной и литературной собственности, то он должен будет предвидеть все эти случаи воровства, должен будет учредить особый род присяжных экспертов и так как форма преобладает над содержанием, то мы придем наконец к тому, что будем обращать в собственность и самые сюжеты сочинений, как то делали Египтяне, жрецы которых одни только имели право, по раз установленным правилам, производить барельефы, статуи, сфинксы, обелиски, строить храмы и пирамиды. Вот до чего доводит нас логика, которая как известно всегда безжалостна в своих приговорах.

## § 4. Продолжение предыдущего: пожалование, скуп, фаворитизм

Мы уже видели каким образом законное обращение литературного произведения в собственность ведет к обращению в собственность и самых идей. До сих пор я говорил обо всем только с точки зрения теории, теперь же покажу, что и с практической стороны весьма не трудно осуществить подобное присвоение, во многом оно даже уже и совершилось.

Вы, может быть, думаете, что те произведения литературы, которые сделались общественною собственностью еще до обнародования нового закона, останутся в прежнем положении; что они по крайней мере будут служить защитой от распространения литературной собственности и злоупотребления ею. Но все это только кажется; древние авторы тоже будут присвоены и вот каким образом:

Профессор, при издании какого нибудь греческого или латинского автора, прибавляет от себя введение, примечания, биографию автора, или словарь. Совет университета признает его издание за лучшее и с тех пор только оно одно и будет продаваться. Так как прибавления, сделанные издателем — творения его ума, то они и обращаются в собственность издателя. Всякому будет позволено перепечатывать древний текст и снабжать его какими угодно глоссами, но будет запрещено присваивать себе труд знаменитого комментатора. Следовательно конкуренция будет невозможна, прибавочное делается главным и «Георгики», «Метаморфозы», «Письма Цицерона» — сделаются источником вечного дохода для издателя, который положительно будет в состоянии говорить: мой Вергилий, мой Овидий, мой Цицерон. Таким, или почти таким образом во Франции ведется торговля классическими книгами.

Аббат Ломонд, посвятивший всю свою жизнь воспитанию юношества и умерший в совершенной бедности продавал свои «Основные правила французской грамматики» по 50-ти сантимов. Грамматика гг. Ноеля и Шапсаля, более обширная, втрое дороже. Между тем расходы на издание этой грамматики весьма немногим превышают расходы на издание книги Ломонда. Несмотря на такое огромное различие в цене грамматика Ноеля и Шапсаля

заняла первое место в ряду всех подобных изданий; она сделалась выгодным предметом торговли и конечно часто служила объектом контрафакции. Я не знаю какая грамматика считается лучшею в настоящее время, я говорю о тридцатых годах. Грамматика гг. Ноеля и Шапсаля была для них вечным источником дохода, а между тем эти господа, занимая высшие должности в университете и получая за это приличное содержание, должны бы в замен этого посвятить государству весь свой труд, тем более что влияние их, как профессоров было конечно одною из причин распространения их грамматики. Они об одном только и думали, как бы накопить денег, а правительство потворствовало этому стремлению. В настоящее время к пожизненному вознаграждению хотят прибавить еще и вечную привилегию. Следовательно нужно проститься со всяким грамматическим сочинением, с литературною критикою, лексикографиею и т. п. Обращаясь в собственность, все становится неподвижным. При таком порядке вещей очень легко понять, каким образом сочинения, которые не могли бы просуществовать и десяти лет, будут существовать целые века. Время от времени какойнибудь министр, найдя, что такое то издание устарело, передаст одному из своих креатур привилегию продажи подобно тому, как передают из рук в руки содержание оброчных статей. И против этого ничего нельзя будет сказать. С одной стороны правительство только воспользуется своим правом, объявив, что такое то сочинение лучше другого, с другой стороны, оно не посягнет ни на конкуренцию, ни на право собственности.

Этот род пожалования может иметь самое разнообразное применение. Раз что установится такого рода литературная собственность можно положительно сказать, что самые замечательные, самые популярные сочинения никогда не сделаются общественною собственностью; наследники авторов никогда не откажутся от своей привилегии. Если же какойнибудь посредственный писатель, пользующийся благосклонностью правительства, напишет книгу, которая не будет расходиться, то правительство в видах общественной пользы купит у автора его сочинение. Таким образом фаворитизм перенесется в область свободной мысли, свободного искусства. Скажу больше, — истинная заслуга будет уничтожена, нейтрализована, благодаря подлому направлению конкуренции, возбуждаемой, в случае надобности, правительством. Пусть явится такое замечательное сочинение, которое было бы опасно запретить, но которое вместе с тем разоблачает тайные мысли и политику правительства, тотчас же сошлется на требование общественной пользы и сочинение будет изменено, очищено, урезано или даже и вовсе уничтожено путем экспроприации.

Естественно, что и в сочинениях Вольтера, Дидро, Руссо, Вольнея, есть много таких хороших, разумных, нравственных, полезных мыслей, которых жаль было бы лишиться. Как бы неприяженно правительство не относилось к философии, оно все таки не решится уничтожить всех трудов подобных писателей. С другой стороны, нельзя не сознаться, что у всех этих писателей можно встретить много ошибочного, несовременного, неверного. Кроме того, много ли таких капиталистов, которые могли бы издать семьдесят томов сочинений Вольтера, тридцать томов Руссо, двадцать пять Вольнея и т. д. Издание избранных сочинений, с прибавкою критических заметок, разбора и общего вывода, удовлетворит всем требованиям и уничтожит неудобства, представляемые полным изданием. Если подобные издания избранных сочинений, поощряемые и издаваемые правительством продаются за весьма умеренную цену, кому после того придет в голову издавать полные сочинения.

Благодаря такой законной, рациональной, даже нравственной системе очень легко сделать Вольтера — верующим, Руссо — консерватором, Дидро — роялистом и т. д. Поручите г. Ламартину издать Рабле или Лафонтена и вы увидите что он из них сделает. {16}

Таким образом в руках правительства будет жизнь и смерть литературного произведения; правительство будет в состоянии произвольно уменьшать или увеличивать срок существования книги, от него будет зависеть составить и уничтожить славу известного сочинения; все мысли, таланты, гении будут во власти правительства. Против подобной власти не устоять никакой оппозиции. Право собственности и экспроприация, конкуренция и критика будут служить правительству верными средствами для уничтожения всякой мысли, которой оно не разделяет, всякого выражения, противного его идеям. Ни в литературе, ни в философии, ни в искусстве не останется жизни и мы, подобно древним Египтянам, сделаемся народом мумий, иероглифов и сфинксов.

## § 5. Периодические издания

Первый человек, возымевший мысль издавать газету во Франции, был доктор Ренодо (Renaudot), основатель «Французской газеты» (Gazette de France), которая начав свое существование в 1634 году продолжала впоследствии издаваться сыновьями Ренодо и дожила до настоящего времени.

Мысль издавать журнал, как с литературной, так и с промышленной точки зрения весьма удобно может быть обращена в объект привилегии и права собственности. Человек, бывший в одно и то же время и учёным, и литератором, и типографом, и книгопродавцем, вздумал ежедневно давать публике лист бумаги, заключающий в себе краткий перечень событий политических, военных, административных, судебных, академических, учёных, художественных, духовных и литературных; отчёт о бирже и театре, иностранные известия, критические заметки, объявления и проч. Не богатая ли это, не плодотворная ли мысль, могущая дать самые счастливые результаты не только в финансовом, но и в умственном, и нравственном отношении? Создавая такой журнал, автор, кроме гениального произведения, создал еще совершенно новый род литературы. Если существует какое нибудь литературное произведение, подходящее под условия собственности, так это именно вышеприведенное.

Это еще не все; чтобы достигнуть своей цели и усовершенствовать свой журнал этот же самый человек учредил товарищество и собрал значительные капиталы. Редакторы, выбранные из самых знаменитых писателей, получали от него огромное жалование; во всех главных городах провинций, во всех столицах Европы он имел хороших корреспондентов; одним словом, он употреблял все средства, чтобы придать своему журналу всесторонний интерес. Он принял даже меры к тому, чтобы в провинциях издавать небольшие газеты, которые служили бы снимками с парижской. Чтобы удовлетворить всем требованиям, всем состояниям, Ренодо хотел издавать еженедельную газету и ежемесячный журнал, которые заключали бы в себе сущность всего того, что писалось в ежедневной газете и которые были бы похожи на издания, в настоящее время носящие название обозрений (revues).

По принципу первенства открытия и литературной собственности, король даровал бы Ренодо вечную привилегию, имеющую силу во всем государстве. Всем было бы запрещено издавать газеты или какие-либо другие периодические издания, которые конечно могли бы быть только подражанием французской газете. Что может быть справедливее этого? Король таким образом только воздал бы должное произведению гения, он не мог бы позволить, чтобы другие, наученные его примером и увлеченные его успехом стали бы отбивать подписчиков и разорять изобретателя. Даже и те возражения, что другая газета будет говорить о событиях в иных выражениях, будет смотреть на факты с другой точки зрения, что она будет заключать в себе то, что пропущено в первой, наконец будет с нею полемизировать, не могут быть приняты в соображение, потому что разрешение издания другой газеты есть нарушение прав первого изобретателя.

Итак вся Франция обязана будет читать только одну газету, мыслить только так, как то благоугодно будет господину Ренодо, который с своей стороны будет действовать по инструкциям. Защитники литературной собственности скажут, что я преувеличивал последствия, вытекающие из принятия их принципа, чтобы тем легче доставить себе удовольствие опровергнуть этот принцип. Но пусть они посмотрят, что только делается в настоящее время, при тех условиях, в которых находится французская пресса; журналы наполнены мыслями опасными не для правительства, которое имеет возможность защищаться, но для народа, для тех партий и тех мнений, представителями которых они должны были бы служить. А между тем право литературной собственности еще не провозглашено, конкуренция еще продолжает существовать, словом привилегии еще нет. Позволение издавать журнал, данное министром может равняться подарку ценою в 100,000 франков. Это то же самое, что и концессия доков и железных дорог. Разрешение журнала это патент на существование известного мнения, известной партии, точно также как и запрещение журнала есть умерщвление этой партии.

Монополизированный журнализм держит в своих руках и политику, и биржу, и литературу, и искусства, и науки, и церковь, и государство. Кроме того, он имеет бездну источников дохода: за припечатание объявления платят деньги, за отчеты о каком либо предприятии, в каком бы он духе не был написан, непременно платит та или другая сторона, за рекламу платится еще дороже и т. д. Справедливость, истина, разум, все они давно перестали быть безвозмездными, все они подобно лжи, пристрастию, софизму, — обратились в такие услуги, которые даром не оказываются.

За отсутствием свободы мнений все общественные отношения основываются на интригах и барышничестве; такова обетованная земля продажного журнализма, содействующего развитию политического рабства, спекуляций, промышленных и литературных реклам, филантропического надувательства, словом всевозможных видов шарлатанства. В настоящую минуту, благодаря существующему законодательству, мы находимся еще в чистилище, но стоит только обнародовать новый закон о литературной собственности и мы перейдем в область вечной муки.

## § 6. О налоге на литературную собственность

Понятие собственности неизбежно влечёт за собою понятие налога. Если литературная собственность будет уравнена с поземельною, то, принося доход, она должна подлежать налогу. Чтобы быть правильным, этот налог должен существовать в двух формах: в виде прямого и постоянного, пропорционального пространству и внешнему виду собственности, и в виде косвенного, зависящего от размера эксплуатации. Если произведение не приносит столько дохода, чтобы из него можно было заплатить прямой налог, то автор принужден будет покинуть его, как покидают бесплодную землю; таким образом констатируется естественная смерть сочинения. Как вещь никому не принадлежащая это произведение сделается собственностью государства, которое и может делать с ним, что угодно; сдать его в архив или передать какому нибудь спекулянту, сумеющему извлечь из него пользу.

Мысль о налоге на произведения ума нисколько не пугает защитников литературной собственности. «Отчего же», говорит Гетцель, «литературная собственность не будет нести таких же повинностей, как и все остальные собственности; не лучше ли платить подати, но за то иметь собственность постоянную, чем пользоваться только временным правом собственности». Это то же самое, что сказать: не лучше ли иметь майорат, приносящий 50,000 франков ежегодного дохода и платить за это 3,000 франков казне, да расходовать 15,000 фр. на поддержание этого майората, чем довольствоваться половинным окладом.

Г. Гетцель, думающий, что он разрешил задачу литературной собственности, так как в качестве книгопродавца-издателя указал более или менее удобные средства для установления авторских прав и пользования ими, самым наивным образом доказывает справедливость моего мнения, что и он, вместе с гг. Альфонсом Карром, Аллури, Пельтаном, Улбахом и друг., ничего в этом деле не понимает.

Он исходит из того знаменитого принципа Альфонса Карра, что «литературная собственность такая же есть собственность, как и всякая другая» и возведя эту ерунду в афоризм, доказывает, что весьма легко утвердить за автором вечное право на получение известного процента с цены каждой продаваемой книги. Но прежде всего нужно именно узнать есть ли литературная собственность «такая же собственность как и всякая другая», т. е. может ли литературное произведение породить собственность, аналогичную поземельной. Мы вывели совершенно противное заключение, сначала из политической экономии, а потом из эстетики, гипотеза же об обложении умственных произведений особого рода контрибуцией, еще более подтверждает наш вывод.

Напомним в последний раз о том, о чём мы достаточно уже говорили, что произведения литературы и искусства принадлежат к категории вещей непродажных, вещей, для которых губительно применение к ним принципа торгашества, барышничества. Я более уже не возвращусь к тому, что оговорено об этом предмете: это все такие истины, которых нельзя вывести посредством силлогизмов или алгебраических формул, но которые вытекают из социальной необходимости, которые понятны всякому, в ком сохранилось хотя малейшее

нравственное чувство. Наложить налог на науки, поэзию, искусство, — значило бы тоже что наложить налог на набожность, справедливость и нравственность, — это было бы освящением симонии, продажности суда и шарлатанства.

Я охотно соглашусь, что в сущности мы не хуже своих предков, но я не могу не сознаться, что в настоящее время во всех умах замечается какое-то всеобщее замешательство. Мы потеряли ту деликатность чувств, ту утончённую честность, которыми в прежнее время отличалась французская нация. Религиозное и политическое равнодушие, распущенность семейной нравственности и сверх всего этого решительное преобладание идеализированного утилитаризма развратили нас, убили в нас много хороших способностей. Понятие безвозмездной добродетели свыше нашего понимания и свыше нашего темперамента; для нас перестали быть понятными и чувство собственного достоинства, и свобода, и радость, и любовь. Я очень хорошо понимаю, что мы должны получать какое-нибудь вознаграждение за свой труд, но с другой стороны думаю, что мы обязаны также оказывать друг другу уважение и сочувствие, соблюдать справедливость во взаимных отношениях и давать друг другу хорошие примеры, не ожидая за то никакой награды, *nihil inde sperantes*, что честность наша должна быть основана на бескорыстном чувстве справедливости. Подобные правила должны бы считаться основными законами общежития, а между тем в наше время их вовсе не признают. Мы все сводим к полезному, за все хотим получать вознаграждение. Я знал один журнал, который в продолжении первых шести месяцев своего существования, вел дело честно и беспристрастно для того только, чтобы впоследствии дорожке брать за свое молчание и свои рекламы. Правило, что только то и можно уважать, за что ничего не платится, сделалось в наших глазах парадоксом. Вот почему, поставляя принцип непродажности произведений наших эстетических способностей и выводя из этого принципа безнравственность интеллектуальной собственности и налога на торговлю художественными и литературными произведениями, я не могу не обратиться к внутреннему чувству читателя и не сказать ему, что если прекрасное, справедливое, священное и истинное не трогает больше его душу, то я не могу подействовать на него никакими убеждениями. В таком случае мои рассуждения будут совершенно излишни и я только даром буду тратить и время и слова.

Итак я повторяю, что налог на просвещение, на учебники, а вследствие того и на распространение, науки, философии, литературы и искусств равнозначителен налогу на обедню, на совершение таинств, подобный же налог конечно в высшей степени безнравственен. Весьма вероятно, что с первого раза налог на книги не остановит их обращения, но со временем нравственные последствия этого налога будут ужасны. Признав, что все, до сих пор считавшееся священным, неприкосновенным, даже со стороны казны, не принадлежащим к области торговли, на будущее время должно считаться продажным, подлежащим налогу и могущим составить объект права собственности, вы одним почерком пера произведете в нравственном мире самую страшную революцию. Все будет материализовано и унижено перед лицом неумолимого, как древняя судьба, фиска, который таким образом будет стоять выше разума, совести и идеала. Ничего нельзя будет назвать прекрасным, великодушным, величественным и священным, на все будут смотреть только с меркантильной точки зрения, все будет оценено на деньги и все будет уважаемо лишь на столько, на сколько содействует нашему наслаждению. Заниматься поэзией и красноречием станут лишь тогда, когда это будет выгодно; над бескорыстной честностью будут

насмехаться. Так как и гражданский и уголовный кодекс, и декалог и евангелие, предписывая человеку что делать и чего не делать, не назначили вознаграждения за исполнение этих предписаний и так как придется согласиться с Бенхамом и со всей утилитарной школой, что справедливость — выгодна, то преступления и проступки обратятся просто в контрабанду. Честность будет понятием условным: какая упрощённость! Еврей совершает над собою обрезание в знак того, что он освобождается от тела и отказывается от нечистоты; мы же, которым Христос проповедовал обрезание сердца, уничтожим в себе и благородство, и добродетель, и ободряющий, подкрепляющий нас идеал. Мы оправдаем слова Горация и сделав из философии стойло для свиней и гордясь подобною гнусностью, будем восторгаться своим прогрессом!

Не думаю, чтобы противникам моим были понятны подобные размышления. Не то, чтобы я сомневался в их нравственности, но фразерство притупило их умственные способности. Литература для той умственной среды, в которой они живут, ни что иное как один из видов парижских изделий, на искусство они смотрят как на изготовление детских игрушек. Увлечённые собственною своею болтливостью они принимают свои промахи за новые открытия. Всякий, вздумавший открыть им глаза, обзывается софистом и чем более ерунды они несут, тем более считают себя вдохновенными людьми. Разве вы не слышите как они ежедневно кричат о порабощении и застое прессы? Но берегитесь! они отстаивают не истину, а только свою промышленность. Рвение, с которым они стоят за свободу прессы не мешает им требовать установления бессрочной ренты в пользу пишущей братии. Они покраснели бы от стыда если бы могли видеть в какие противоречия впадают; но к счастью они слепы{17}.

## § 7. Учреждение промышленной собственности по образцу литературной: восстановление цехов и корпораций

Учреждение литературной собственности, необходимо влечёт за собою видоизменение промышленных привилегий, а вскоре затем и восстановление всей феодальной системы. Очевидно, что форма, приданная мысли писателем, не более священна, не более носит на себе отпечаток личности, чем формула учёного или изобретение промышленника и что если непрерывная поземельная рента может быть установлена в пользу первой, то в ней нельзя отказать и двум последним. Все ограничения, предлагаемые по этому поводу защитниками литературной собственности, для которой гибельно подобное заключение, представляются пустыми словами. Это впрочем понимал и принц Луи-Наполеон, когда в письме к Жобару, проповедуя бессрочность привилегий, он высказал мнение, которое мы уже приводили: «Интеллектуальное произведение такая же собственность, как и земля или дом, оно должно пользоваться теми же правами и не может быть нарушаемо иначе, как в интересе общественной пользы».

Нет ремесла, которое в настоящее время не было бы осаждаемо и забрасываемо несколькими привилегированными изобретениями. Патенты на изобретения, превращенные по желанию Жобара в собственность, повели бы к привилегированию эксплуатаций, к восстановлению цехов с тою лишь разницею, что в прежнее время цеховое право было ленным правом, тогда как теперь было бы оно основано на мнимом праве собственности.

Во первых, нельзя отрицать, что со введением бессрочных привилегий, конкуренция получит смертельный удар. Промышленная и коммерческая свобода только тем и поддерживается, что привилегии срочны и через несколько лет изобретение делается общественным достоянием. Промышленники и фабриканты не привилегированные, принужденные употреблять обыкновенные, старые способы производства, ждут не дождутся истечения срока привилегии, который для них есть час освобождения. Иногда несчастные фабриканты выходят из этого грустного положения тем, что сами в свою очередь делают изобретателями, иногда также случается, что патентованное изобретение нейдет в ход потому, что на него нет спроса, или потому, что оно преждевременно, плохо обдуманно и явилось при неблагоприятных условиях. Как бы то ни было, но срочные привилегии и конкуренция, действуют друг на друга как два цилиндра, вертящиеся в различные направления; эти два деятеля служат поддержкой для труда и двигателями прогресса. Я согласен с тем, что есть много несчастных изобретателей; есть такие, которых подлейшим образом ограбили; очень часто полезное изобретение остается бесплодным, или разорив изобретателя обогащает презренных спекуляторов. Все это указывает на необходимость произвести реформу, как в законодательстве о привилегиях, так и в общественной экономии и нравах. Необходимо удовлетворять требованиям свободы и соблюсти права гения, словом необходимо установить прочные гарантии и для личной инициативы, и для дешевизны продуктов, и для общественного благосостояния.

Но, при бессрочности привилегий, необходимым последствием которой было бы преобладание свободы над гением или гения над свободой, конкуренция не могла бы существовать и мы вскоре впали бы в неподвижность. «Нет» говорит Жобар, «против бессрочных привилегий вы можете выставить постоянную конкуренцию новых изобретений». Это возражение, с первого взгляда кажущееся удовлетворительным, падает при практической его поверке.

Триптолем изобрел соху, до сих пор еще употребляемую в некоторых странах. Соха есть орудие состоящее: 1) из остроконечного сошника, насаженного на рукоятку как крючок на палку и предназначенного горизонтально поднимать землю; 2) из двух ручек, расталкивающих направо и налево поднятую сошником землю, не перевертывая ее. Триптолем получил привилегию на исключительное право фабрикации и продажи этого орудия. Впоследствии несовершенство подобной сохи было доказано. Один земледelec прибавил к ней орало, предназначенное бороздить землю вертикально, расширил сошник с одной стороны, уничтожил одну из двух ручек, округлил и приправил другую таким образом, что земля, разрезанная вертикально оралом и горизонтально сошником, обращается вокруг своей, оси и перевертывается верх дном. Третий земледelec ставит соху на колеса и делает некоторые улучшения в подробностях. Каждый из этих изобретателей в свою очередь патентуется, как и первый, и получит бессрочную привилегию на фабрикацию или право непрерывной ренты. Но тут нужно заметить три вещи.

Во первых, с земледельческой точки зрения, эти постепенные улучшения в сущности друг с другом не конкурируют, а только дополняют и поддерживают друг друга: так что если усовершенствованный плуг Матье де Домбале (Dombasle) и значительно лучше сохи Триптолема, то публика, обязанная платить ренту и тому и другому изобретателю все таки ничего не выигрывает от существования двух привилегий, вместо одной. Результат будет лишь тот, что все изобретатели, трудившиеся над улучшением устройства плуга вместо того, чтобы пользоваться каждому в отдельности своей идеей, соединятся для фабрикации плугов и сох, составят товарищество для снабжения земледельческими инструментами всех стран, где занимаются земледелием. Или же изобретатели, за известную плату и с известным ограничением, передадут свое право фабрикации земледельческих орудий посторонним антрепренерам. Таким образом явится цех, корпорация людей, фабрикующих плуги и сохи. Если вслед за тем появится плуг, приводимый в движение паром, то он будет хорошо принят: правда в таком случае будет одним соучастником больше, но за то увеличится и доход компании. Крайним последствием всего этого будет то, что мелкие земледельцы, не будучи в состоянии купить плуг, содержать упряжь и платить поземельную ренту изобретателям, принужденные пахать лопатой, будут разорены конкуренцией зажиточных земледельцев. Вопрос прогресса превращается таким образом в вопрос капитала: с одной стороны развитие земледелия усиливается, с другой интересы мелких земледельцев страдают. Таким образом промышленная собственность становится опасною для собственности поземельной, труд становится недоступным для бедного; незначительным хлебопашцам приходится бросать землю, так что в конце концов там, где прежде было сто мелких собственников, явится один богатый землевладелец, пер Франции, украшенный всевозможными орденами. Такие гибельные последствия могут вытекать только из существенно ложного принципа.

Другой и последний пример. Гуттенберг получил привилегию на изобретенные им подвижные буквы, а Фуст и Шеффер на изобретенный ими способ переливания шрифтов. Естественно, что эти изобретатели имеют друг в друге нужду, им выгодно составить ассоциацию. Они получили на вечные времена привилегию, на основании которой имеют право печатать книги и отливать шрифты, а также могут, за известное вознаграждение, передавать другим лицам право печатать книги, отливать шрифты, вести торговлю печатными книгами и типографскими принадлежностями. Впоследствии в типографском деле является множество последовательных улучшений и все частные усовершенствователи группируются вокруг первого изобретателя и таким образом снова возникают корпорации, цехи типографов, в которых есть свои мастера, подмастерья и ученики. Является Зеннефельдер и литография, думаете вы, начнет конкурировать с типографией? — Вовсе нет; типографы заключат договор с литографами и привилегированный цех будет с тех пор называться типографским и литографским. Поборники свободы жалуются на то привилегированное положение, в котором книжная торговля и книгопечатание находятся с 89 года, но того и не замечают, что дарование подобной привилегии ничто иное как хитрая полицейская мера. Предположите, что интеллектуальная собственность уже установлена и правительству в этом отношении не об чем будет и заботиться.

В системе промышленного феодализма хозяева-типографы составляли бы класс дворян, аристократов, которые столько же как и сам король (а пожалуй даже и больше)

заинтересованы в сохранении существующего порядка. Достаточно пустить в ход привилегии авторские и типографские, и эти привилегированные собственники вполне заменят и типографскую полицию и цензуру.

В газетах недавно говорилось о наборщиках, просивших восстановить корпорации и о хозяевах типографий, требовавших цензуры. Побудительную причину для первых служила конкуренция женщин, которые появившись во многих типографиях в качестве наборщиц сбили заработную плату до тех пор получаемую мужчинами; в основании же просьбы хозяев лежало опасение подвергнуться судебному преследованию. В настоящее время мы еще колеблемся, но установите литературную собственность — и само правительство, и учёные, и хозяева, и рабочие сознаются, что мы возвратились к феодальному порядку!..

Здесь снова я повторю замечание, сделанное мною выше по поводу изобретения сохи: применение ложного принципа всегда влечёт за собою гибельные последствия. К чему эта бессрочная монополия в пользу Гуттенберга и компании? Разве основная идея книгопечатания, а именно подвижность букв, не должна была неизбежно рано или поздно вытечь из искусства печатать на твердых, неподвижных досках, которое было известно гораздо прежде Гуттенберга, и на котором основано книгопечатание Китайцев? Разве эта мобилизация шрифтов не вытекала *à contrario* из самой их твердости? Разве не таков обыкновенный ход человеческого мышления, чтобы постоянно вывертывать все понятия наизнанку, бросать рутинное воззрение, идти наперекор преданию, как поступил например Коперник, отвергнув гипотезу Птоломея, как поступает логик, прибегающий попеременно то к индукции, то к дедукции, то к тезе, то к антитезе. Что касается до постепенных усовершенствований, то они составляют только развитие одной основной идеи, так же неизбежно из неё вытекающей, как сама она вытекает из разрушения другой, противоположной ей идеи.

То, что сказано мною о книгопечатании и земледелии, может быть применено и ко всякому ремеслу, ко всякой промышленности, ко всякому искусству. Везде мы видим, что один ряд предприятий неизбежно влечёт за собою другой; так что если бы постоянно применять принцип присвоения, то масса народонаселения была бы в зависимости от нескольких сотен антрепренеров и привилегированных мастеров, которые составляли бы аристократов в области производства, кредита и мены. Это было бы равнозначуще установлению давности в пользу монополии, но в ущерб разуму. Итак принцип интеллектуальной собственности ведет прямо к порабощению рассудка, а вслед затем и к восстановлению или ленов, или общинного владения землею, которая повсюду будет объявлена собственностью государства, словом к восстановлению господства феодального права. Ни одна промышленность, ни одно ремесло, не смотря на несколько веков свободы, не может быть вполне обеспечено от монополизации. Все это не мешает приверженцам интеллектуальной собственности быть в то же время приверженцами свободной конкуренции, свободного обмена. Согласите же подобные противоречия.

## § 8. Влияние литературной монополии на общественное благосостояние

Я, думаю, достаточно объяснил (по крайней мере для каждого человека, мысль которого не заключена в тесном кругу материальных интересов), каким образом создание художественной и литературной собственности есть ни что иное как отрицание от высоких идей, которые составляют достоинство человека, освобождая его от рабства пред потребностями тела и требованиями домашнего хозяйства. Я хочу теперь показать каким образом эта же самая собственность ведет к усилению пауперизма.

В былое время, которое я еще хорошо помню, прежде чем торгашество, с своими ростовщическими приемами, вторглось во всевозможные отношения между различными классами общества, отношения эти имели совершенно другой характер. Товары продавались и отпускались, договоры заключались не так как теперь, во всем было больше мягкости. Каждый мерил щедрой рукой, и купец, и ремесленник, и поденщик, и слуга, никто не щадил своего труда. Весы всегда склонялись в пользу покупателя; никто не торговался из-за пяти минут или из-за сантиметра; всякий честно, с избытком зарабатывал свое жалование или свою поденную плату. Патроны, антрепренеры, хозяева, с своей, стороны держались тех же правил в отношении своих рабочих, приказчиков и слуг, сверх условленной платы давались еще особые прибавки на водку, на булавки. Этот обычай сохранился и до сих пор, но подобные надбавки в настоящее время сделались обязательными и считаются составною частью самой платы. Оптовой торговец в былое время также отмеривал товар щедрою рукою, прибавляя всегда известный привесок к дюжине, к сотне, к тысяче. Последствием таких обычаев было положительное увеличение народного богатства, так как каждый производитель, начиная от слуги и рабочего и кончая самым богатым фабрикантом, как будто бы подарил обществу  $\frac{1}{2}\%$ , 1 % или даже 2 % со своего ежедневного заработка, или уделил обществу соответствующую часть своего ежедневного дохода. И заметьте притом, что подобная щедрость существовала рядом с духом бережливости, так как роскоши в это время вовсе не было, всякий скупился на расходы на самого себя для того, чтобы быть в состоянии что либо уделить другим. В таких принципах крылась причина дешевизны продуктов, общественного благосостояния и высокого уровня нравственности. В то время больше трудились и сберегали, меньше расходовали и меньше грабили, а вследствие того всякий сознавал, что он честный и хороший человек и был счастлив. При отсутствии скупости, не существовало ни нахальства, ни низости; мелкие люди не воровали, большие не грабили; предположения антрепренера, отца семейства, всегда оправдывались. Щедрость в отношении к другим относилась в бюджет каждого гражданина. Никто не ошибался в своих расчётах потому, что условившись в цене и количестве товара всякий знал, что неуловимая убыль, которая неизбежно сопряжена со всяким производством, приобретением, перенесением, потреблением и которая в случае частого повторения может сделаться обременительною, покрывается тою незначительною сбавкою цены, которая делалась без всякого разговора.

Все это, как легко видеть, изменилось ко вреду всей страны и каждого из нас в отдельности. Новое направление в торговле, по которому все высчитывается не только на

франки и сантимы, но даже и на дроби сантимов, в котором принято за основное правило, что время те же деньги и следовательно, всякая минута имеет свою цену; новый дух мелкого торгашества, ловкого барышничества изменил условия общественного благосостояния и нравственности. От скупости мало-помалу перешли к мошенничеству. Каждому свое, говорим мы, и осуществляем эту вечную аксиому тем, что отмериваем все с безнадежною точностью. По честности своей мы ничего не убавим, но и не дадим ничего, кроме условленного, цифрами определенного количества. Само собою, что эта идеальная точность, не осуществимая на деле всегда обращается во вред покупателя. Слуга всегда находит, что работает слишком много, по тому жалованию, которое получает; он ложится спать и встает когда ему вздумается, выговаривает себе право отлучаться из дому два раза в месяц, требует подарков к праздникам, приобретает в свою собственность все то, в чём господину его миновалась надобность, берет в свою пользу те сбавки, которые делают поставщики, словом обогащается на счёт своих господ. Работник и приказчик, высчитывают каждую минуту; они ни за что не войдут в мастерскую до звонка, ни минуты не останутся в ней долее положенного срока; хозяин вычитает из заработной платы за всякий час, пропущенный рабочим, за то и рабочий, с своей стороны, не подарит хозяину ни минуты; от такой мелочности конечно страдает дело потому, что работа ведется нехотя и кое-как. От надувательства в качестве товара мало-помалу переходят к надувательству и в количестве; всякий старается отнести на счёт другого неизбежную убыль и дефектные экземпляры; дорожа своими трудами всякий старается обмерить, обвесить, надуть другого. Получив нечаянно фальшивую монету, никто ее не уничтожит, а всякий старается сбыть другому. Человек, которого нанимают поденно или понедельно, надеясь на его добросовестность, попусту тянет время. Работник, получающий задельную плату, заботится только о количестве, но не о качестве продуктов и для того, чтобы сделать более, работает на скоро и плохо.

Все это неизбежно влечёт за собою такой ущерб, который сначала не замечается, но со временем непременно проявится в дороговизне продуктов и во всеобщем обеднении. Это все равно, что если бы каждое из лиц, участвующих в производстве и обмене продуктов, каждый работник или работница, каждый приказчик, каждый чиновник и т. д. ежедневно крал бы у общества ценность, равняющуюся стоимости четверти рабочего часа. Предположим, что эта четверть часа стоит 10 сантимов, а производителей во Франции 25,000,000 в таком случае годовая убыль будет равняться 912,000,500 франкам. Одно это обстоятельство могло бы служить объяснением стеснительного положения страны. Заметьте притом, что скряжничая в деле труда, мы с другой стороны, не жалеем расходов на предметы роскоши; мы именно потому-то и делаемся расчётливы и скупы, что потребности наши разрослись. Таким образом, вдаваясь в роскошь, мы мало-помалу впадаем в безнравственность и незаметно приближаемся к нищете.

Литература и искусство должны бы стараться поддерживать и развивать добрые старые обычаи, содействовать созреванию и развитию этого драгоценного семени, кроющегося в сердцах людей. В этом случае голос писателя или артиста имел бы авторитет, так как произведения этих людей непродажны и потому им всего приличнее проповедовать умеренность и бескорыстие. Сами подавая пример самопожертвования они были бы истинными апостолами общественной благотворительности. Но писатели пойдут совершенно иным путем когда закон освятит принцип литературной собственности,

который поведет к совершенному уничтожению благородного и великодушного элемента в общественных отношениях.

Слишком много думая о своем таланте, соразмеряя количество требуемого вознаграждения с тем чрезмерно-высоким понятием, которое сами они имеют о своих произведениях, литераторы и художники только о том и мечтают, чтобы быстро нажить себе состояние. Так как и общество того же мнения, то у нас вместо литературы является промышленность, удовлетворяющая нашему стремлению к роскоши и способствующая развращению общества.

Журналисту платят со строки, переводчику с листа, за фельетон платят от 20 до 500 франков. Один из моих приятелей упрекал Нодье в том, что он испещряет наречиями свой растянутый и тяжёлый слог; на это Нодье отвечал, что слово, состоящее из восьми слогов, может составить строку, а строка стоит франк.

Издатели умеют растягивать строки, увеличивать шрифты и таким образом по произволу умножать число листов и томов. Цена книги в настоящее время определяется уже не количеством издержек на издание с присовокуплением того вознаграждения, которое следует автору, но соразмеряется с степенью известности сочинения, со внешним видом и весом книги. Соблюдая уважение к мыслям автора и заботясь о карманах подписчиков издатель «Истории консульства и империи». (*Histoire du Consulat et de l'Empire*) назначил 2 франка за большой том в 600 и даже в 900 страниц. Спекулятор, издавший «Несчастных» (*Les Misérables*), растянул на 10 томов и продает за 60 франков роман, который легко уместился бы в 4 томах и мог бы стоить 12 франков. Из этого простого сближения можно ясно видеть, как действуют честные люди и как поступают барышники.

В настоящее время жалуются на то, что вся образованная молодежь ищет блистательной карьеры, что она никак не берется за ручной труд, что вследствие этого общественному порядку и добрым нравам грозит сильная опасность. Думали свалить всю вину на Греков и Римлян, но это совершенно нелепо. Виноват во всем этом не Virgilius, не Цицерон, не Демосфен, а тот промышленный дух литературы, развитию которого думают положить предел установлением бессрочной монополии. Между тем как серьёзных сочинений появляется все меньше и меньше, а произведений литературно-промышленных — гибель, литературный мир переполнен талантами совершенно нового рода. В наше время редко пишут по вдохновению; писатель, у которого встречаются оригинальные мысли, облачаемые в оригинальные же формы, может считаться фениксом; за то мы отлично умеем прикрывать пустоту содержания формами, заимствованными у великих мастеров, скопированными с знаменитых оригиналов. Все у нас продажно, из всего мы умеем сделать ремесло. Мы стоим ниже бродяг, — мы впали в проституцию и трудно решить, можно ли поставить толпу наших голодных литераторов выше тех несчастных танцовщиц, которым директора театров платят по 2 франка за вечер или даже и ничего не платят, так как они довольны и тем, что имеют случай показать публике свои прелести: эти несчастные женщины торгуют своим телом, но по крайней мере не искусством. Они по крайней мере могут сказать с Лукрецией:

“ Corpus tantum violatum, animus insons.

## § 9. Общий вывод. Еще о праве собственности

Книга моя приняла слишком большой размер, но я далеко еще не все сказал.

Мне хотелось бы поподробнее развить каким образом, с установлением интеллектуальной собственности, торговля и промышленность возвратятся к цеховому устройству; каким образом и поземельная собственность, аллодизированная революцией, будет увлечена общим движением и возвратится к менее цивилизованной, менее социальной ленной форме. Если дошедшие до меня сведения верны, то в известном мире изготовлен уже проект преобразования института поземельной собственности и организации больших земледельческих компаний, которые сотрут с лица земли мелких собственников, мелких земледельцев, подобно тому, как общества железных дорог стерли с лица земли держателей дилижансов. Дух феодализма не совсем еще угас во Франции, он живет в умах самозванных демократов, скорее чем в умах читателей «Французской газеты» и членов общества св. Винцента (St. Vincent de Paul).

Мне следовало бы показать, что так как Франция вступила на ретроградный путь, между тем как другие государства следуют совершенно противоположному направлению, то антипатия, разномыслие и враждебность интересов необходимо должны проявиться в международных отношениях; что последствием предполагаемой реформы будет война из-за принципов, в которой Франция поменяется ролями с коалицией, так как первая будет защищать феодальное право, а вторая — свободу и революцию. Ясно, что если во Франции будет введена интеллектуальная собственность, т. е. бессрочная монополия, то все международные трактаты потеряют силу и иностранный труд, не стесняемый никакими привилегиями, безвозмездно пользуясь нашими открытиями, будет находиться в лучшем положении, чем труд у нас, во Франции. Для того, чтобы подобное положение дел не повело к войне, нужно, или чтобы иностранные государства согласились возвратиться к феодальной системе, или чтобы Франция отменила только что установленный ею закон и возвратилась на путь свободы.

Сокращая свои рассуждения, сделаю вывод:

а) Нет и не может быть литературной собственности, аналогичной собственности поземельной. Установление литературной собственности противоречит всем принципам политической экономии, так как её нельзя вывести ни из понятия продукта, ни из понятий мены, кредита, капитала и процента. Услуга писателя, если рассматривать ее с точки зрения экономической и утилитарной, непременно заставляет подразумевать существование между автором и обществом договора мены услугами и продуктами, а из этого обмена вытекает то положение, что по вознаграждении писателя назначением в пользу его срочной привилегии, литературное произведение становится собственностью общества.

б) К сфере интеллектуальной неприменим принцип завладения; в эту сферу не допускается эгоизм и продажность. Религия, правосудие, наука, поэзия, искусство, теряют все свое значение, как только они делаются объектом торга, потому что их распределение и вознаграждение подчинены совершенно другим правилам, чем распределение и вознаграждение промышленных продуктов.

в) Что касается до политической и экономической системы, то признание принципа завладения имело бы на них губительное влияние. Оно повело бы к восстановлению ненавистной народам системы, которая в настоящее время приняла бы еще худший вид, так как в былое время она основывалась на религии, а теперь была бы построена на материализме и всеобщей продажности.

После всего этого выслушайте, что я вам скажу, вы, трусливые и простоватые буржуа и собственники, которым монополия, как знаменитый кот в сапогах в сказке Пьерро, кричит: «Если вы отвергнете интеллектуальную собственность, если вы не скажете, что литературная собственность есть такая же собственность, как и всякая другая, то и ваша поземельная собственность будет лишена всякой опоры, явятся делильщики и всех вас ограбят»; — слушайте же, что я вам скажу:

Двадцать три года тому назад я отнесся к праву собственности, что называется, критически. Надеюсь, что критика эта была обстоятельна и добросовестно составлена. Я мог ошибаться, скромность прилична человеку, у которого столько врагов; но и в этом случае велика-ли моя вина? Составляя свое критическое исследование, которое, надеюсь, было на столько самостоятельно, на сколько вообще может быть критика, которым я гордился, потому что видел в нем исходную точку социальной науки, путь к примирению сословий и задаток лучшего государственного устройства, я старался не выходить из пределов критики, не требовал экспроприации собственников, вооружался против коммунизма, рискуя таким образом быть обвиненным в непоследовательности, лицемерии, двоедушии. Я доказывал лишь то, что наша практическая философия совершенно еще новая наука, что если мы отrekliсь от феодальных учреждений, то все-таки еще государственное устройство наше не вполне удовлетворяет требованиям свободы; что экономическое наше положение еще хуже политического; что все наши сведения по части социальной экономии и государственного управления ограничиваются тем, что мы видим в них бездну противоречий; что, разрушив старый порядок, мы еще не приступили к установлению нового; что даже самые почтенные из наших учреждений в сущности все-таки создания нашего злого гения; что все это — есть неизбежное последствие того революционного положения, в котором мы находимся, и которое служит предвестником зарождения нового права, новой философии, в которых прошедшее примиряется с будущим, которые положат прочное основание нашему благополучию и славе.

Все это было сказано мною по искреннему убеждению; я был уверен, что сообщая публике свои мысли — осуществляю свое право и даже выполняю свою обязанность; самого меня, более чем кого-либо другого, изумили те положения, к которым привел меня тщательный анализ вопроса. Если я ошибся, и если вы, почтенные буржуа, столько же уверены в этом в настоящее время, как пятнадцать лет тому назад, то простите меня во имя философской терпимости и свободы мнений, допускаемой нашими законами. Неужели весь этот спор об

авторских правах не привел еще вас к убеждению, что нужно бояться педантского невежества, а не свободного исследования; что люди, восстающие против моей критики и объявляющие себя защитниками права собственности, в сущности, понимают дело гораздо хуже, чем я понимал его в 1840 г., так как они приводят доводы, двадцать раз опровергнутые, которые больше всего компрометируют принцип права собственности.

В настоящее время меня преследует другая мысль, которую вы можете, пожалуй, тоже отнести к области галлюцинаций, но консервативного направления которой вы не будете в состоянии скрыть. Мне кажется, что праву собственности, под бременем государственного долга в 20 миллиардов, бюджета в 2 миллиарда, возрастающей централизации, закона об экспроприации по требованиям общественной пользы, которым нет никаких границ, при таком законодательстве, которое вводя принцип бессрочности литературной монополии идет к восстановлению феодальной системы; праву собственности, которое отстаивается неловкими адвокатами, которое угнетается барышничеством, и беззащитно от всевозможных проделок шарлатанства; праву собственности, не смотря на энергическую защиту со стороны правительства, грозит большая опасность, чем в 1848 году. — «К чему сословие собственников в Париже?» такое название носила одна брошюра, вышедшая несколько лет тому назад, которая была пробным камнем особой секты, своими ловкими проделками влекущей нашу слепую нацию к промышленному халифату. Настанет, и очень скоро, время, когда вы услышите и другой вопрос: «к чему сословие собственников во Франции?» Тогда-то, как в 1848 г., праву собственности придется искать новых спасителей, а спрашивается где же оно найдет их, если против него восстанут те самые люди, которые его прежде защищали?... Я думаю, что тогда-то и настанет время для критического социализма, которым вас столько раз стращали, обнародовать свои выводы и разрешив страшную задачу, принять на себя защиту права собственности. Будьте покойны, защита критического социализма будет для права собственности самую действительную защитой, которая поставит его на твердую почву. Дело обойдется без всяких издержек с вашей стороны и без всяких уступок со стороны нашей отверженной касты.

Критика, очищая, проветривая идеи, прежде чем передает их публике, не требует за это никакой привилегии. Она идет прямой дорогой, уверенная в своей логичности, никогда не пятится назад и не впадает в противоречия. Она независтлива, она заботится не об одной только славе, не об одной своей личной выгоде; отводя всему надлежащее место, она отдает каждому должное. Поэтому-то она стоит за разделение земли между частными владельцами, но восстает против установления интеллектуальной собственности.

# Примечания и оглавление

1\* Примечания автора отмечены цифрами, а примечания переводчика — звездочками.

2\* De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise.

3\* Etudes sur la propriété littéraire, par MM. Laboulaye, père et fils, 1858.

4\* De la propriété intellectuelle par MM. Frédéric Passy, Victor Modeste, P. Paillotet, avec préface de M. Jules Simon, 1859.

5 Комиссия состояла из 22-х членов и большинство её (18-ть голосов) высказалось за принцип бессрочности монополий. Меньшинство состояло, говорят, из гг. Флуранса (член института, секретарь академии наук), Низара (член института), Дюпона (сенатор и прокурор кассационного суда) и Дидо (Firmin Didot — типограф-книгопродавец). Странно, что люди, считающиеся представителями либерального направления, как гг. де Ламартин, В. Гюго, Ж. Симон, Фр. Пасси, Альф. Карр, Пельтан и друг. отстаивают это ультра-феодалное учреждение, тогда как к числу его противников принадлежат истинные друзья императорского правительства, каковы напр. Гг. Дюпон, Флуранс и Низар.

6 При этом случае я могу привести приговор императорского суда, лично меня касающийся. В 1836 году я издал (анонимно) учебник всеобщей грамматики в виде продолжения к *Éléments primitifs* Бержье. Книга почти вовсе не разошлась. Впоследствии, после более серьёзного изучения предмета, найдя свою книгу весьма несовершенною, я решился пожертвовать ею и продал оставшиеся экземпляры издания мелочному торговцу. Один книгопродавец выкупил их у лавочника в 1852 г. и пустил их в продажу под моим именем. Написав эту книгу, я и не думал от нее отречься, но не выставил на ней своего имени потому, что не был уверен в её достоинстве. По какому же праву постороннее лицо решилось продавать эту книгу и объявлять мое имя без всякого с моей стороны согласия, в то время, как я думал переделать свое сочинение и вознаградить вторым изданием убытки, понесенные от первого? — Конечно я имел право считать мои авторские и издательские права нарушенными. Безансонский коммерческий суд решил дело в мою пользу, но апелляционный суд взглянул на вопрос с другой точки зрения. Он решил, что процесс начат мною не из любви к истине, а вследствие оскорбленного самолюбия, вследствие желания уничтожить компрометирующее меня сочинение; что нельзя дозволить писателям подобным образом обманывать публику и т. д. На это я отвечал, что книгопродавцу следовало бы дождаться появления в свет нового издания моего сочинения и тогда, сравнив его с старым, он мог бы сколько угодно обличать меня перед публикою. Но не смотря на все эти возражения софисту было отказано. Решение суда было основательно только в одном пункте, именно в том, что мысль, обнародованная автором, становится с той поры общественною собственностью. Ко мне этого принципа нельзя было применить потому, что я в это время намеревался приступить к новому изданию своего сочинения, на что, вследствие законом предоставленной мне привилегии, имел полное право. Следовательно,

суд, допустив продажу под моим именем сочинения, от которого я отказывался, нанес мне значительный ущерб.

7\* Под понятием командита разумеется сделка, посредством которой образуется такое торговое товарищество, в котором один или несколько членов распоряжаются делами, а прочие члены участвуют в предприятии только денежными выгодами т. е. вверяют свои капиталы активным членам. Такое товарищество в французском торговом кодексе называется *Société en commandite* (Code de commerce, art. 23, éd. N. Vacqua de Labarthe, Paris, 1862.) Наше законодательство называет такое общество товариществом на вере и говорит, что оно «составляется из одного или многих товарищей с приобщением одного или многих вкладчиков, которые вверяют первым известные суммы своих капиталов в большем или меньшем количестве». (2130 ст. 1 ч., X Т. Зак. Гражд., изд. 1857.) Профессор Мейер называет еще такое товарищество неполным и безыменным или анонимным. (Русское Гражд. Право Мейера, ч. 2. стр.351 и 352. изд. 2-ое., 1861 г.). Название анонимного общества (*société anonyme, unbenannte Gesellschaft*) применяется впрочем не к одним товариществам на вере, но (еще чаще) относится и к акционерным компаниям. (См. Code de commerce, art. 29, 30 и Bluntschli, Deutsches Privatrecht, München 1860, 2 Aufl, § 139, S. 383).

8\* Переводя стоящее в подлиннике слово *prêt*, — ссудой, мы спешим оговориться, что употребляем слово ссуда в обширнейшем смысле, в том, в каком принято употреблять его в общежитии, а не в техно-юридическом его значении. На языке научном — ссуда означает договор, посредством которого одно лицо безвозмездно предоставляет другому на известное время (а иногда и без определения срока) право пользования каким либо движимым имуществом, причём ссужаемое лицо обязывается возвратить (по миновании надобности или срока) полученную вещь собственнику в том же виде, в каком она была принята. В общежитии же под ссудой понимается и отдача вещи на подержание и заем, причём безвозмездность вовсе не считается непременною принадлежностью сделки. Мы полагаем, что именно в таком значении употреблено Прудоном слово *prêt*, которое означает у него то заем (*mutuum, — prêt de consommation*), то ссуду (*commodatum, — prêt à usage, ou commodation*), то имущественный наем (*locatio rei, — louage des choses*).

9 Вопрос о праве собственности может быть любопытнейший из вопросов, занимающих XIX век, так как он интересен и с юридической, и с политической, и с экономической, и с нравственной точки зрения, долго был камнем преткновения и для публики, и для большинства писателей. Мне самому случилось на нем споткнуться, но я имею перед своими собратьями хоть то преимущество, что сразу понял всю трудность этого вопроса и предугадал его разрешение. Думали, что достаточно одного здравого смысла для разрешения задачи, которая обхватывает все стороны общественной жизни, которая в продолжении 4000 лет не поддается философскому анализу, основной принцип которой формально отвергался величайшими из мудрецов. И вот, зажмурив глаза, всякий вздумал лезть на арену и браться за защиту несчастного института, за что и награждался благодарностью народов, которые всегда поклоняются людям, отстаивающим дорогие их верования. И в академии, и на трибуне, и в школе, и в печати всякий хвастается тем, что разбил софиста; к чему же привела эта блистательная победа? Истина скрылась, а сомнение стало еще безнадежнее, самый же институт собственности подвергся таким преобразованиям, что есть причина опасаться за его существование. Правительство,

конечно, в этом нисколько не виновато: усиливая репрессивные меры, изобретая новые гарантии, всеми силами отстаивая институт права собственности, оно и не вообразало, что право собственности вовсе не нуждается в подобных подержках, что если оно теряет свою самостоятельность, то превращается в простую привилегию, утрачивает всякое значение; таким-то образом, вступив в союз со штыками, истина и справедливость безвозвратно погибают.

Так как для поддержания истины и справедливости в высшей степени важно, чтобы общество поближе познакомилось с этим вопросом, то я решаюсь вкратце изложить результат моих исследований о поземельной и литературной собственности.

Старые законники прямо говорили, что право собственности основывается на принципе завладения и не принимали никакой другой гипотезы. В подпору к праву завладения принимали еще принцип завоевания, с помощью которого новый владелец становится на место прежнего, побежденного, вступает в его права. В то время, когда еще признавали права сильного, когда на завоевание, — естественное последствие каждой войны, смотрели как на нечто вполне законное, подобное объяснение права собственности было вполне удовлетворительно. Явились Монтескье и Боссюэт и стали утверждать, что право собственности основывается исключительно на постановлениях положительного законодательства. В наше время эта теория оказалась несостоятельной и явились две новые. Одна кладет в основание права собственности — труд; этой теории держится г. Тьер в своем сочинении, «О собственности». Другая, считая мнение Тьера неблагонамеренным, полагает, что истинное основание права собственности лежит в индивидуализме; что право собственности есть проявление человеческого Я. К числу представителей этой теории принадлежат гг. Кузен и Фр. Пасси. Нечего и прибавлять, что положения этой теории кажутся пустыми и самонадеянными в глазах последователей Боссюэта, Монтескье и г. Тьера. Они основательно спрашивают: — почему же не все люди собственники, если для установления собственности нужны только воля, свобода, личность и человеческое Я?

В таком положении находился вопрос, когда и я с своей стороны взялся за его разрешение. Принявшись за разбор и очистку всех этих теорий, я доказал, что все они одинаково ложны; я показал, что факт завладения, сам по себе, не может породить никакого права; что авторитет законодателя заслуживает всякого уважения и об неповиновении законам не может быть и речи, но что в настоящем случае нужно осмыслить самый закон, доискавшись до его мотивов, что труд — вещь священная, но что право, им порождаемое, не выходит из границ простого вознаграждения, по известной экономической формуле: «услуга за услугу, продукт за продукт, ценность за ценность» и что труд никаким образом не может сообщить человеку звание поземельного собственника; что человеческое Я составляет только один из элементов права собственности, для которой необходимо соединение двух моментов: вещи усваиваемой, и лица, субъекта усваивающего, но что кроме того все-таки необходимо определить основания и условия завладения потому, что иначе всякий пролетарий явится к вам и в силу своего человеческого Я будет объяснять, что он также собственник.

Против мнения гг. Кузена и Фр. Пасси, приписывающих такое огромное значение нашему Я восстает само Евангелие, которое осуждает эгоистические стремления человека под именем греха — любостыжания. Всякому известно, что первобытная церковь отвергала

институт права собственности; впоследствии пришлось сделать уступку, но строгость первоначального принципа была удержана в устройстве монастырей. С падением Западной Римской империи пал и институт права собственности; на развалинах его под влиянием церкви и германского духа возникла феодальная система, окончательно разрушенная только в 1789 году.

Положив конец феодализму, революция, с некоторыми лишь ограничениями, восстановила римский институт права собственности, не подыскав, однако, философского ему объяснения. Текст закона перед нами, а мотивов не видно. Но так как в том периоде, который начался с революции, могут быть терпимы только рациональные учреждения, то праву собственности грозит теперь такая же опасность, как и в первые времена христианства. Неужели праву собственности суждено испытать катастрофу, неужели и мы восстанем против него вместе с примитивной церковью? Такой вопрос задают себе все следящие за ходом событий и видящие ретроградный поворот дел. Многие из отрицающих принцип права собственности не сознают в этом, а многие и сами того не сознают. Я укажу напр. на слепых защитников централизации, на барышничавший сен-симонизм, вооружающийся против семьи и против свободы, на церковь, хлопчущую о восстановлении погибших монастырей и о возвращении утраченных земель, на демократов, преклоняющихся перед абсолютизмом, бредящих о каком-то единстве и приходящих в негодование при одном имени федерализма.

Я совсем не так смотрю на вещи. Для меня еще недостаточно одного открытия эгоистичности и антисоциальности принципа собственности для того, чтобы я вооружался и против самого института; напротив, подобное открытие побуждает меня только к дальнейшим исследованиям. Мне кажется, что право собственности, до сих пор не понято обществом потому, что этот институт выше уровня современной цивилизации. Вместо того, чтобы требовать отмены права собственности, как делают это теологи, основатели разных религиозных орденов и коммунисты, я всегда протестовал против всякого коммунизма, гуввернементализма и феодализма; с другой стороны, я ревностно защищаю принципы промышленной свободы и конкуренции, я отстаивал семью и право наследования; теперь же, в книге, посвящённой борьбе против монополии, я громко заявляю, что право собственности представляет собою важный и запутанный вопрос, который нужно разрешать, а не оставлять без внимания. Современная критика обвиняет меня в противоречии и непоследовательности, нападает на вероломство моих выводов и на нахальство моих больших посылок, указывает на мое пристрастие к парадоксам, а между тем опыт с каждым днем все более и более подтверждает основательность моих положений. По мере того как принцип права собственности ослабевает под ударами промышленного феодализма, и абсолютизма верховной власти, общество чувствует, что и само оно распадается, а между тем не находит средств к защите. Насколько нелогичны все до ныне известные объяснения права собственности, настолько же безумно требовать в настоящее время уничтожения такого учреждения, которого мы еще не понимаем.

Возвращаясь к гипотезе литературной собственности я нахожу во первых, что нельзя брать для неё за образец собственность поземельную, которая и сама построена на мало известных началах; во вторых, как будет доказано во второй части настоящего сочинения, каковы бы ни были мотивы учреждения поземельной собственности, они не могут быть

применены к собственности интеллектуальной потому, что в мире духовном не можем иметь места право завладения.

Такова сущность моей в высшей степени консервативной мысли, которая, надеюсь, должна привлечь на мою сторону множество симпатий после того скандала, который поднялся вследствие моих критических исследований и выведенных мною формул. Но есть люди во всех партиях, и между красными и между белыми, считающие всякое рассуждение святотатством. Право собственности принадлежит к числу тех кумиров, относительно которых недопускается свобода рассуждений, к которым недозволяется применять критический метод Декарта. Говорить о праве собственности и его происхождении для подобных людей все равно, что подходить с огнем к пороху... даже более! — это значит предостерегать публику против их шарлатанских проделок и советовать ей держать руки в карманах. Плуты, нажившиеся барышничеством и рекламами, так и ждут приближения полицейского комиссара всякий раз как речь пойдет о праве собственности. Подобного страху мне не случалось видеть ни в одном из добросовестных собственников. Но пусть успокоятся эти, далеко не безупречные, защитники права собственности, в моей книге они не найдут доносов. Происхождением их прав может заниматься уголовный кодекс, но учёному исследованию до них нет никакого дела. Им, может быть, придется когда либо предстать перед судом полиции исправительной, но между их интересами и интересами настоящих, добросовестных собственников нет решительно ничего общего.

10\* Такое название носит книжечка, заключающая в себе собрание скучнейших стихотворений Ламартина.

11\* Но потомок Альфана или Баяра

Если он кляча, — продается за бесценок.

12\* Закон 1844 г. о привилегиях на изобретения (*loi sur les brevets d'invention*) прямо говорит, что привилегия, выданная на чисто научное открытие — недействительна. Закон этот можно найти в сборнике Бакка де Лабарта. — *Côdes spéciaux de la législation française*, éd. de N. Vacqua de Labarthe-Code de la propriété littéraire et de l'industrie, p. 575. — art. 30. (Titre quatrième. Des nullités et déchéances).

13 Предложение — препятствовать распространению социализма посредством закрытия школ сделано было, если я не ошибаюсь, во время республики г. Тьером. Что же касается до журнализма, то я указал уже в другом сочинении (О федеративном начале — *Du principe fédératif*. 3-me partie. Ch. I) кого следует считать истинными виновниками продажности нашей прессы.

14\* Фонтан — поэт времен первой империи, ярый бонапартист, во время революции держался умеренной партии, вследствие чего и принужден был удалиться из Франции. Впоследствии он попал в законодательный корпус и в речах своих отчаянно льстил Наполеону.

15 Уменьше выгодно продать свое сочинение, эксплуатировать не заслуженной репутацией, извлекать выгоды из любопытства и пристрастия публики, словом — литературное

барышничество, развилось в наше время до неслыханных размеров.

Во первых теперь уже не существует добросовестной критики, все пишущее в журналах и газетах само не чуждо спекулятивных соображений. Всякий мало мальски уважающий себя человек, не желающий принимать участия в составлении реклам и угощать публику общими местами, принужден молчать. Шарлатанство стало на твердую ногу. Успех литературного произведения определяется ценою, за которую оно продано автором. В газетах объявляют, что вскоре появится новое произведение, с нетерпением ожидаемое, которое уступлено автором такой-то издательской фирме за 100, 200 или 500,000 франков. В большинстве случаев эта баснословная сумма существует лишь на словах потому, что самолюбию многих авторов льстит даже и номинальная ценность их произведений. Многие отдадут преимущество шарлатану, который обещает им 100,000 фр. и потом обанкротится, не заплатив ничего, перед добросовестным издателем, который заплатил бы 50,000 фр. наличными деньгами. Часто впрочем случается и то, что новичок в издательском деле, увлечённый громким именем, платит безумную цену и сам напрашивается на разорение. Ловкие издатели спекулируют даже и на формате книги. Первое издание литературного произведения бывает всегда дорого; сначала напускаются на карманы богачей, а потом уже и на бедняков; через несколько времени делают новое издание, изменяя и формат, и шрифт, и бумагу. Сочинение, заключавшееся в двух томах и продававшееся по 15 фр. через шесть месяцев издается в одном томе и продается за 3 фр. Таким образом цена его падает на 80 %. Столько же процентов следовало бы скинуть и со всех книг и со всех литературных репутаций.

16 Существование критики немыслимо при существовании литературной собственности, так как и сама критика обратится в привилегию. Истинно классические произведения редки и нет ничего легче как соединить в небольшой книжке все лучшие произведения какого нибудь автора. В 40 или 50 песнях высказался весь Беранже, без остальных трехсот или четырехсот легко обойтись. Вопрос в том будет ли дозволено составляющему курс литературы внести в свое сочинение эти 40 или 50 песен, которые даже и с примечаниями займут может быть не более  $\frac{1}{4}$  тома? Но подобное разрешение может нанести существенный ущерб собственнику. Может случиться, что чтение этих избранных мест, помещённых в курсе, станут предпочитать чтению полных собраний сочинений; тогда и доход и право собственности издателя безвозвратно погибнут. Тоже самое можно было бы сделать и с лучшими романами. Так, критический разбор с перепечаткою в курсе словесности 50 страниц из «Собора Парижской Богоматери» (Notre-Dame de Paris) могли бы избавить всякого от труда читать весь роман Виктора Гюго. Всякая литература стремится к тому, чтобы обратиться в антологию, всякая философия хлопочет о том, чтобы облечь окончательные свои выводы в форму афоризмов, каждая история желает превратиться в разумную хронику. С другой стороны, так как литературное произведение есть в тоже время и предмет торговли, то довольно трудно определить до каких границ может идти это урезывание произведений автора. Что же делать?

17 Говоря в этом § о налоге на литературную собственность, я имел в виду только влияние подобного налога на взгляды и нравы общества. Не мешает обратить внимание и на то влияние, которое этот налог окажет на книжную торговлю, которая и без того уже не пользуется слишком широкой свободой.

Естественно, что налог пал бы прежде всего на продавцов, а те, уже перевели бы его на публику. Если прибавить к этому налогу плату автору, от 8 до 12 % которой нужно уплатить вперед, то для издания в 1000 экземплярах книги, которая будет продаваться по 3 франка, книгопродавцу придется затратить средним числом до 300 франков, не включая в это число типографских издержек. Если такой книгопродавец издаст в год до десяти подобных книг, то ему придется затратить до 3000 франков; что же будет, если он поведет издания в более широких размерах? Ему придется уже затрачивать не тысячи, а сотни тысяч франков, а многие ли фирмы могут затрачивать подобные капиталы? Если же предположить, что правительство, для большей верности, станет еще требовать от издателей залога, то книжной торговле грозит неминуемый застой.

Оглавление От переводчика Литературные Майораты Вступление Часть первая  
Экономические доводы § 1. Постановка вопроса § 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ: С экономической точки зрения писатель — производитель, а сочинение его — продукт. Что понимается под словом производить? Свойство человеческой производительности § 3. Право производителя на продукт. — Понятие о производстве не влечёт за собою понятия о собственности § 4. О мене продуктов. — Из меновых отношений не вытекает право собственности § 5. Особые затруднения, встречаемые при мене интеллектуальными продуктами § 6. Прекращение авторских прав § 7. Разрешение некоторых затруднений § 8. О кредите и капиталах. — Понятия о сбережении, о капитале, о наемной плате (*préstation*) и о коммандите{\*} (*commandite*) не приводят нас к понятию о литературной собственности, аналогичной собственности поземельной и не могут служить основанием бессрочной ренты § 9. О господстве и личности. — Право завладения в области интеллектуальной § 10. Общий вывод: правительство не имеет ни права, ни возможности создать литературную собственность Часть вторая Нравственные и эстетические соображения § 1. Различие между вещами продажными (*vénales*) и непродажными (*non vénales*) § 2. О религии § 3. О правосудии § 4. О философии и науке § 5. О литературе и искусствах § 6. Почему некоторые продукты и услуги не могут продаваться? — Причины литературного торгашества § 7. Политическое бессилие — первая причина литературного торгашества § 8. Торговая анархия. — Вторая причина литературного торгашества § 9. Упадок литературы, вследствие её продажности. — Предвидимое изменение Часть третья Социальные последствия § 1. Каким образом начинаются и отчего не удаются революции § 2. Смысл закона о литературной собственности § 3. Присвоение интеллектуальной собственности § 4. Продолжение предыдущего: пожалование, скуп, фаворитизм § 5. Периодические издания § 6. О налоге на литературную собственность § 7. Учреждение промышленной собственности по образцу литературной: восстановление цехов и корпораций § 8. Влияние литературной монополии на общественное благосостояние § 9. Общий вывод. Еще о праве собственности